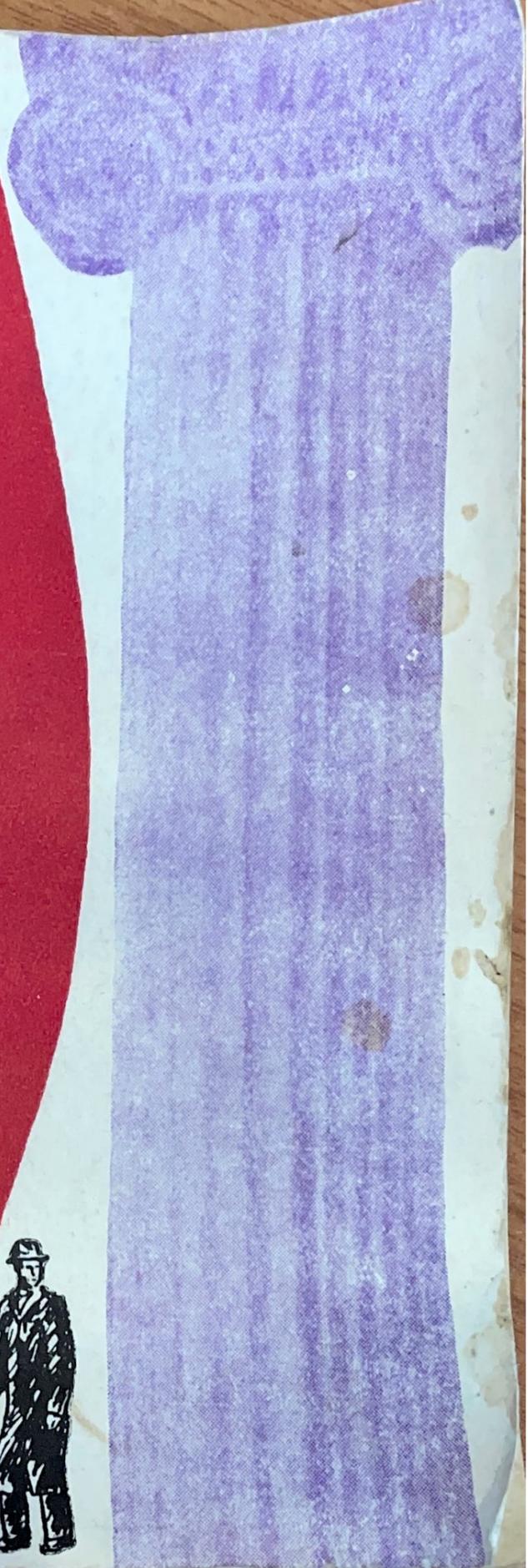


81917  
1184

43

**И. ШЕГОЛИХИН**

**ХРАНИ ОГОНЬ**



И. ЩЕГОЛИХИН

**ХРАНИ ОГОНЬ**



~~СМ~~

**РАССКАЗЫ  
И ПОВЕСТЬ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ» ● АЛМА-АТА — 1968

20

Р 2  
Щ 34

Щеголихин Иван Павлович, родился в 1927 году. По образованию врач. Автор нескольких книг прозы, из которых наибольшее внимание читателя привлек роман «Снега метельные», опубликованный в Москве, Алма-Ате, Варшаве и Софии.

В новой повести «Храни огонь» рассказывается об ученых-медиках. Психологический ее конфликт не носит чисто научного характера, но весьма характерен для научной среды, причем не только медицинской. Избавляя людей от рака как врач и ученый, главный герой повести профессор Назаров в то же время как руководитель научного коллектива сталкивается с другим не менее страшным недугом: карьеризмом, бездушием, интриганством — раком души человеческой, бороться с которым не легче.

В книгу включены также рассказы о молодых наших современниках, о некоторых проблемах художественного творчества.

- 49796 -

Булаевская ЦСБ  
Соз Каз обл.

7-3-2

## ШАГИ ПО КЛАВИШАМ

За подснежниками была очередь. Женщины с ведерками стояли рядом возле линялого серого штaketника, и к каждому ведерку двигалась очередь. Было солнечно, тепло, по-весеннему пестро и ярко от платков, косынок, причесок, лиц и улыбок, но очередь тянулась темная, монотонная и неловкая, ибо сегодня, 8 марта, состояла она из одних мужчин.

Очутившись перед уймой куцых букетиков, Савин слегка приуныл — вблизи они выглядели не цветами, а лилово-белесой травкой подземелий.

— Сколько?

— Двадцать копеек.

Он взял на сорок и отошел.

— Зато вовремя,— сказала одна из торговок, видимо, на чье-то ворчанье.— Снег лежит, а мы вам уже принесли, принесли.

«Десять букетов — два рубля, сто букетов — двадцать рублей», — прикинул Савин машинально, от нечего делать, и пожалел, что «уже принесли, принесли». Хорошо бы сейчас заявиться с подснежниками, которые искал сам где-нибудь на студеных склонах возле Коктюбе или в Аксайском ущелье. А брать здесь, в самом центре города, на углу Калинина и проспекта Коммунистического, не собирать, а покупать — ни романтики тебе, ни поэзии, один чужой заработок. Весну, одним словом, продают на перекрестке.

«Сто букетов — двадцать рублей, тыща букетов — двести рублей», — продолжал Савин придирчиво и неожиданно сравнил: — Даже один хорошо написанный лепесток подснежника оценивается дороже. А за тыщей букетов, пожалуй, надо облазить все склоны Заилийского Алатау...»

Пахли они землей, вполне возможно, что и могилой. Так почудилось только сейчас и, наверное, от досады. Зачем они торгуют подснежниками! Хоть раз в году дали бы молодым людям возмож-

ность пошастать за городом по полям, по горам и хоть чем-то законно проявить себя.

А впрочем, чего ты брюзжишь, Савин, надо быть современным юношей! Видел же ты вчера очередь в ЦУМе и слышал: «За чем стоите, девушки?» — «За ресницами». Так что шагай, брат, в ногу с веком, не отставай.

В конце концов не все ли равно, как они попали к тебе, важно другое. Сейчас он войдет в редакционную комнату и молча положит подснежники на стол Риты Новиковой или подаст ей прямо в руки.

Его обгоняли мужчины и парни с подснежниками, и шли на встречу мужчины и парни с подснежниками, потому что на следующем углу тоже стояли женщины с ведерками и к ним тянулась вереница, как за газводой в зной.

«Надо выбросить,— решил Савин.— Нельзя дарить ей столь многотиражную травку, лучше выбросить». Но ведь глупо бросаться подснежниками в Международный женский день, еще подумают, что у человека сердце разбитое. «Купить газету, свернуть трубкой и сунуть в урну». Он подошел к киоску, увидел себя в стекле — светлый пробор, белый жесткий воротничок, сизая болонья — вполне терпим.

Киоскершу поздравляли, и она улыбалась, юная, слегка смущенная. Киоскерша — плохое слово. Савину понравилось вычитанное где-то сравнение: киоск издали как фонарик, а киоскер фитилек в нем. Так-то лучше — газетный фонарик и девушка-фитилек.

Улыбка не успевала сойти с ее лица, как опять кто-то поздравлял. Было очень приятно смотреть на девушку и на очередь и хотелось, чтобы вот так было и завтра и каждый день. И постепенно щеки девушки привыкли бы и не уставали от улыбки.

— «Комсомолку» и «Литературную»,— сказал Савин, подавая гривенник.

Она глянула с остатком улыбки, не погасшей от поздравления того, кто отошел перед Савиным. С легким вздохом легли газеты, он представил, как будет заворачивать подснежники в свежую, немятую и, главное, нечитанную газету, чтобы тут же сунуть ее в грязную урну. Нет, это кощунство. Савин быстро окинул прилавок, стек-

ла фонарика и увидел, что подснежников здесь нет. Протянув букетик, он положил его на кипу «Правды».

— Поздравляю,— сказал он с облегчением.

Фитилек загорелся, улыбка вспыхнула с новой силой. Савин отошел, вполне надеясь, что вряд ли у нее теперь хватит сил улыбнуться кому-то более растроганно.

Он шел в издательство просто так, без повода. Книга воспоминаний генерала Н., которую он оформлял, уже сдана в производство. Корректор Рита Новикова сидит над другой рукописью, оформлять которую будет неизвестно кто, а если даже и Савин, то все равно не скоро. «Повод, повод! — поддразнил себя Савин.— Так всю жизнь и проживешь на поводу». Сегодня он может и даже обязан уделить особое внимание женщине, не боясь подозрений и нареканий, как не боятся их верующие, когда христосуются в день пасхи.

В коридоре никто из женщин не встретился — добрая примета. Теперь надо объединиться с кем-нибудь из мужчин. Савин заглянул в производственный отдел, увидел знакомые лица техреда, художественного редактора и Сергея Одинцова из редакции научно-популярной литературы, общительного, свойского парня, лет тридцати пяти, по кличке Хромосомный набор. Одинцов страстно увлекался генетикой и прямо-таки страдал, недоумевал оттого, что не все чтут его преклонение перед логикой и арифметикой наследственности.

— А-а, Савин, привет! Хотя ты и не женат, но женщины в твоей жизни, как и в моей, занимают достойное место, верно? — Сергей обернулся к техреду.— А он к причастию упомянут?

Техред отрицательно покрутил головой и потребовал:

— Деньги на бочку — три рубля!

Вот и снова судьба улыбнулась Савину, ведь не навязывался, сами втянули в компанию.

Рита Новикова сидела в той же комнате, где и Сергей. Савин вошел сюда без прежнего смущения, ибо шел следом за Одинцовым.

— Вас Алексей Михайлович искал,— сказала она Сергею.— Оставил вот эту бумажку.

— Поздравляю вас, — сказал Савин и чуть поклонился. — С праздником.

Подснежников на ее столе не было. А может быть, она вернула их в бумагу и сунула в корзину?

Рита сказала спасибо и продолжала, глядя на Одинцова:

— Просил написать объявление вот по этой шпаргалке. Можно, говорит, подойти к ней творчески...

— На ловца и зверь бежит, — ответил Сергей, кивая на Савина. — Верно?

— Зверь так зверь, — согласился довольный Савин.

Одинцов положил на стол плакат «Мороженая камбала — ценный пищевой продукт», перевернул его чистой стороной кверху, подал Савину толстый черный карандаш и шпаргалку Алексея Михайловича: «Уважаемые товарищи женщины! Сегодня в 14 часов состоится собрание в честь Международного дня 8 марта. Вступительное слово сделает тов. Белоус. Дирекция. Партбюро. Местком».

— Не правда ли, тепло написано? — сказала Рита Новикова. Длинная шея и монгольский разрез глаз придавали ей заносчивый самоуверенный вид. — Хоть бы один раз в году избавили от казенщины!

— Наше дело механическое, — отозвался Савин охотно. — Был бы текст.

— Ваш приятель подает большие надежды, — сказала Рита Новикова, обращаясь к Одинцову.

— А тебе лишь бы обличать, будто гонорар получаешь, — отозвался Сергей.

Через три минуты составили новое объявление: «Дорогие любимые наши женщины! В два часа приглашаем вас на дружеский обед в честь неповторимого праздника — Дня 8 марта. Два слова скажет А. М. Белоус».

— Вот так: два слова! — Сергей довольно потер ладони. — Всего два.

— Чего-то еще не хватает, — пробормотал Савин.

— Как всегда, знаков препинания, — отозвалась Рита из своего угла.

— Справедливо,— не обиделся Сергей и поставил с размаху восклицательный знак после «любимые».— А вот сюда — другой.— И нарисовал вопрос после «наши».

Знаки раззадорили, и Сергей с Савиным весело переглянулись— что бы еще придумать?

Вошел Белоус.

— Ну как, готово?

— Как видишь, Алексей Михайлович,— удовлетворенно ответил Сергей.

Белоус — полный, но не рыхлый, а крепкий, с большими кулаками — окинул размашистым взглядом объявление сверху донизу: жирные высокие строки зеленым, синим, алым — и сказал, что неплохо, неплохо.

— Только вы тут мне что-то присочинили,— усомнился Белоус.— Где бумажка?

— Какая бумажка?

— Текст.

Шевеля губами, он промычал объявление от начала до конца и непримиримо мотнул головой.

— И хотелось вам время тратить!

— Хорошо, Алексей Михайлович, вполне,— сказала Рита Новикова, приближаясь к мужчинам.

Он не обратил внимания на корректора.

— Черным по белому было сказано: вступительное слово делает...

— Чем ты его сделаешь, товарищ Белоус, рубанком, фуганком? — ехидно поинтересовался Сергей.

— Языком сделаю! — вспыхнул Белоус.

Он сердито глянул на Савина, зная, что малевал именно он, художник, и именно он допустил отсебятину или, по крайней мере, способствовал ей. Но так как они были едва знакомы, Белоус сдержался.

— Придется переписать,— успокаиваясь, мирно сказал он.— Тем более, что вот эти творческие находки,— он ткнул пальцем и громко постучал ногтем сначала раза три по восклицательному знаку

после «любимых», а затем раз семь-восемь по вопросительному после «наши», — они просто-напросто оскорбительны.

— Но это же ю-юмор, — попытался оправдаться Одинцов.

— Легкое такое, неофициальное, — осторожно поддержал Савин.

— Понимаю, что юмор, вы меня за дурака не считайте! — опять вспылал Белоус. — «Наши» под вопросом, ха! А чьи же они? Бродвейские? Или с какой-нибудь ФРГ к нам пожаловали? — Белоус посмотрел внимательно на Савина, отвернулся к Сергею. — В общем так, Сергей Сергеевич, прошу переписать.

Белоус вышел, минуты через три вернулся, и не один, а с Полиной Павловной, тихой, скромной женщиной, старейшей в издательстве машинисткой. Она печатала счень аккуратно, грамотно, пунктуально, корректоры после нее могли отправлять рукопись в набор не читая. Сейчас она шла за Белоусом, бледная от испуга, чуть вытянув шею и явно страшась увидеть то ужасное, о чем ей было сказано только что.

Рассказывали, что в сорок девятом году Полина Павловна название важной статьи напечатала так: «О культуре национальной по содержанию и социалистической по форме». Корректор проверил, ничего не заметил и сдал в набор. Могла быть трагедия, но обошлось — сора из избы не вынесли.

Беседа, правда, состоялась, но не где-то в высоких инстанциях, а тут же, в издательстве, и с тех пор Полина Павловна больше не путает форму и содержание.

Сейчас Савин, увидев испуганное лицо старой доброй женщины, испытал жгучий стыд: как они глупы и неправы, сотворив столь фривольное объявление!

Вполне возможно, что Полина Павловна, старейший и честный сотрудник, сейчас, перед уходом на пенсию, стала очень мнительной и во всем могла увидеть намеки. Вполне возможно, что Полине Павловне казалось, будто уход на пенсию зависит не от возраста и закона насчет обеспечения престарелых, а только от того, что она, наверное, не потрафила новому директору Хабибулину или необузданным нынче молодым редакторам...

Волнуясь, Полина Павловна внимательно прочитала раз, другой

и облегченно согласилась, что да, действительно, не следует слово «наши» ставить под вопросом.

Одинцов, сверкнув глазами на Белоуса, со стоном вздохнул, сложил плакат вдвое и грубо, с шумом разорвал.

Объявление переписали и вывесили в коридоре. Никто перед ним не остановился, не задержал взгляда, и нечего было его вывешивать — и так знали, что в два часа в большой комнате научно-популярной редакции сдвинут в один ряд столы и мужчины, под ласковые усмешки женщин, будут с самоуверенной грацией накрывать стол, расставлять посуду и с миной ярого вождения водружать бутылки на равных промежутках, будто колышки геодезистов.

Все было славно: обед сам по себе редкий — всем коллективом, вместе с новым директором Хабибулиным, настроение приподнятое, если не считать, пожалуй, троих: Савина, Одинцова и Полины Павловны, которая еще не пришла в себя от напора Белоуса.

— Трудно выразить простыми словами, какую поистине огромную силу представляют женщины в нашей стране, — начал «делать слово» Белоус.

За столом Савин оказался между двумя незнакомыми сотрудниками. Художественный редактор и техред с красными лицами, уже «с праздничком», сидели за дальним углом стола и особняком что-то соображали. Одинцов подсел к ним, и только Рита Новикова оказалась против Савина и сейчас разговаривала с соседкой, молодой женщиной в очках, полной, черноволосой, со сросшимися бровями и черным пушком на губе.

— Всюду на вахте стоят наши славные патриотки женщины: в промышленности и сельском хозяйстве, на поприще науки, культуры, искусства, на ниве просвещения и воспитания подрастающего поколения и даже в космосе, товарищи! — с уверенностью первооткрывателя продолжал Белоус.

«Он, конечно, не признает художников-абстракционистов, — думал Савин. (Рита Новикова, не слушая, переговаривалась с соседкой, а ему ничего не оставалось, как, не слушая, думать). — Не признает. Но ведь слова «всюду на вахте наши славные женщины-патриотки» — это и есть абстракция, бесцветная и бесформенная.

А ведь хорошо было бы сейчас сказать доброе пожелание, допустим, той же Полине Павловне, для которой нынешний праздник, наверное, последний в родном коллективе, а, к примеру, для Риты Новиковой — первый в ее трудовой биографии...».

— Свыше миллиона наших сестер, жен, матерей награждены орденами и медалями, семьдесят шесть удостоены звания... Около трех тысяч стали...

— Нельзя ли поближе к нашим женщинам, роднее, так сказать,— проговорил Одинцов, будто поймав мысли Савина.

— Я заканчиваю, товарищи. Поздравляю наших дорогих женщин с праздником. Да здравствует Международный женский день!

Белоус поднял стакан, отпил глоток, сразу отнял стакан и задержал над ухом, давая понять, что будет говорить еще.

— Я мог бы не упоминать в такой торжественный день о пустяках, но если некоторые товарищи этого хотят, то я скажу. Сергей Сергеевич не случайно пустил реплику. Перед собранием некоторые товарищи решили пошутить, но, как справедливо говорят в народе, смех — дело серьезное. Вместе с художником Савиным они нарисовали такое, что ни в какие ворота не лезет. Представляете, написали «наши женщины» и слово «наши» поставили под вопросом.

Все рассмеялись, и Белоус победно улыбнулся, однако, поняв, что смеются не в его поддержку, громко добавил:

— Я бы не стал говорить, конечно, о пустяках, если бы великое, как вам известно, не состояло из мелочей. Не случайно газета выступила с резкой критикой сборника «Хлеб идет», который редактировал Одинцов.

— Ну и что? — беспечным тоном спросил Сергей.

— А то, что от безответственных смешков рукой подать до политической ошибки. В результате нас критикует обком.

— Не обком, а Бук. Нашим и вашим что хошь спляшем!

Рассмеялась одна только Рита Новикова. За столом наступило неприятное молчание.

— Давайте забудем! — предложил кто-то.

— Ведь праздник же!

— Нет, забывать не надо,— сказал до сих пор молчавший Хабибулин.— Из критики надо извлекать пользу, делать выводы.

Через минуту за столом все же сделали вид, что забыли о стычке. Забулькало вино — разливали по стаканам, фаянсовым бокалам, а техред налил Сергею в зеленую эмалированную кружку...

Молодой худощавый редактор из промышленного отдела, с бордочкой и в синем свитере, прочитал стихи:

Я с тобой не стану пить вино,  
Оттого что ты мальчишка озорной,  
Знаю я — у вас заведено  
С кем попало целоваться под луной.

Завертелся кое-как праздничный гомон.

Потом поднялся техред и самоуверенно потребовал внимания.

— Пospорили Ветер с Солнцем — кто из них сильнее!.. А точнее сказать: кто из них быстрее разденет женщину. Договорились, начали. Вот дунул ветер, сорвал с нее шляпку, начал рвать платье... Ну, сами понимаете, со всеми натуралистическими подробностями. «Грубая работа»,— сказала Солнце и припекло. Женщина сняла пальто. Солнце усилило свой луч — женщина сняла платье. В конце концов ей стало совсем тепло, и женщина предстала перед Солнцем и Ветром в своей первозданной чистоте. Я призываю выпить за солнечное отношение к женщине!

Белоус хохотнул первым, но быстро смолк.

— Товарищи, была просьба насчет чувства меры,— предупредил он запросто, без тени упрёка.

— Сначала посмеялся вволю, а потом о бдительности вспомнил,— едко проговорил Савин, бледнея от своей дерзости.

— Это кто говорит? — взвился Белоус.

Наступило молчание, выжидательное, как показалось Савину. От стыда и гнева у него напряглись уши. Красный до испарины Савин поднял глаза на Риту Новикову. «Не надо»,— тихо сказала она и улыбнулась.

«Не надо так не надо,— попытался успокоиться Савин.— Это ведь типичная суета сует — тягаться с Белоусом...»

На месткомовском сейфе включили радиолу, и Алексей Михайлович, подхватив чернявую с усиками женщину, вышел на круг первым и пошел резвыми шажками, раскачивая правой рукой выпрямленной, а левой согнутой в локте: левой — правой, вверх — вниз, будто старый пожарный насос.

— Столы в сторону, в сторону! — сея панику, закричал техред.

Савин вместе с Ритой Новиковой приподняли стол и, когда придвинули его к стене и опустили руки, хочешь — не хочешь, настал момент пригласить Риту танцевать. Но Савину совсем не хотелось идти в пошлом фокстроте, да еще под дирижерские взмахи Белоуса, и он сказал:

— А на улице так хорошо сегодня! Давайте уйдем.

Она с минуту смотрела на своих, думала и согласилась.

На улице не было ни флагов, ни обычных вымпелов на стойках у обочин, но и без них праздник как бы реял в воздухе, видимо, оттого, что прорвалась наконец весна. В тени еще лежал опавший, окаменевший снег, а сухой асфальт уже струился теплом. Воздух был острым, терпким.

Они вышли в сквер посредине широкой улицы. Аллея была длинной и прямой. Вдоль газона на сухом сером асфальте виднелись темные, влажные потеки через равные промежутки.

— Смотрите — будто клавиши впереди, — сказал Савин.

Ах, черт возьми, какой был бы день, если б не было на свете Белоуса! Савину очень захотелось отвести душу, чтобы потом говорить вольно и о чем угодно.

— Приходится терпеть таких, — сказал он.

Рита Новикова не ответила.

— Восьмое марта, — продолжал Савин, — а вообще-то, я хотел ему дать пощечину.

— Ах, как масштабно! Одним махом вы бы отомстили Белоусам всего мира! Искоренили! Это и есть тот самый героизм, за который самая справедливая награда — пятнадцать суток. Кстати, а вы знаете, что у Белоуса редкая коллекция?

— Спичечных коробок? Бутылочных этикеток?

— Представьте себе, кинжалов.

Он легко поверил. Конечно, мог бы и кандалы собирать, есть такие любители. В общем, к черту его, Белоуса! И Савин спросил:

— А кто это такой — Бук?

Рита Новикова чуть прищурила глаза.

— Они вместе учились в Казгу. Сергей Сергеевич и этот самый Бук. Вместе учились, вместе работали, выпивали, дружили. И вечно спорили. Один отстаивал литературные авторитеты, другой их сокрушал. Дружили они лет пятнадцать, лет пятнадцать спорили, потом вдруг — бац! — как отрезали. Перестали спорить, перестали дружить. Стукнуло им по тридцать пять, пришла зрелость, и ничего не осталось, как яро защищать то, с чем тебя эта самая зрелость застала. Я не сама придумала все это, вы понимаете, это Сергей рассказывал. Сергей Сергеевич, я хотела сказать. Они могли стать просто чужими, забыть о существовании друг друга, и Сергей Сергеевич так и жил. Но Бука это не устраивало. Он стал доказывать свою правоту через печать. Знаете, на редкость злобно и методически. Наверное, здесь замешана женщина, как вы думаете? — неожиданно спросила Рита.

Савин пожал плечами, ничего не ответил сомневаясь. Что там женщина, все-таки идеи, убеждения, и вдруг просто-напросто — женщина. Нет, не то.

— На сборник была рецензия. Гадкая, иных у Бука не бывает. В одном из очерков говорилось, что некоторые преступно мешали развитию генетики в нашей стране. Потом оказалось, что у автора был только намек, а редактор своевольно его расширил. Влепили Сергею выговор. Дескать, допустил отсебятину, вставил то, чего в оригинале не было... Идемте обратно, — опять неожиданно сказала Рита и легонько взяла Савина за руку.

Он послушно повернулся, подумав: «Опять в издательство?».

Так оно и получилось — Рита Новикова привела его в издательство и возле подъезда сказала:

— Вытащите оттуда Сергея Сергеевича. — Кажется, она чуть смутилась, опять насупилась. — Не то он натворит что-нибудь. А там новый директор, Белоус...

— А у Белоуса — кинжалы, — беспечно сказал Савин.

Она улыбнулась.

— Ну пожалуйста.

Он быстро пошел, испытывая неожиданный стыд, смятение. Ах, черт возьми, как он еще молод, молод — хоть тресни, юн и глуп, глуп!

...Теперь они были втроем и опять вернулись в ту же аллею.

— Смотри, правда, похоже на клавиши? — радостно спросила Рита Новикова.

Сергей был оживлен, весел, говорил много, Рита еле выбрала момент, чтобы сказать:

— Вчера я смотрела фильм «Камни Хиросимы». Памятник там показан с надписью: «Спите спокойно, это больше не повторится».

— Глядя на Белоуса, этого не скажешь! — быстро вставил Одинцов.

— Да она не о том, Сергей! — весело сказал Савин.

И сразу понял, что лучше бы ему промолчать, что вспомнила Рита про надпись совсем не зря, и обо всем этом надо потом непременно подумать.

— Ну, а что толку в том, что мы говорим, говорим, констатируем, — с горечью продолжала Рита.

Сергей перебил:

— Есть толк! Вот клавиши заметила. Да, клавиши! А материк — орган. Он звучит, он грохочет. Звучат человеческие слова, чувства, дела, и из всего этого слагается действительность. Как симфония из отдельных созвучий. И звучит ти-ти-ти-та-а-а... Ти-ти-ти-та-а... Пятая симфония. Дубль-вэ. Виктория — победа. Ти-ти-ти-та-а. Не Чайковского — Бетховена. А кто сказал насчет хороших людей, Рита? Неважно, кто сказал, я говорю, и вы говорите: все хорошие люди идут в ногу. А другие этого не знают и пляшут вокруг них танец времени.

Пошлые определения «слегка пьян», «выпивший» совсем не годились для облика Сергея; он был бесшабашен, весел, попросту хорош. Такой, каких любят женщины.

«Ах, телок, телок, — думал про себя Савин. — Я и завтра приду к ним, и послезавтра. И как хорошо, что они живут в нашем городе...».

## НОВЫЙ РЕДАКТОР

Галка звонит мне каждое утро. Однажды заболела, лежала дома с температурой, а до ближайшего телефона-автомата идти квартала три. Так и не смогла позвонить. А на другой день слабым от болезни и огорчения голосом сказала:

— Теперь этот год для меня не високосный — один день я не говорила с тобой.

Сегодня она позвонила около восьми, как только пришла в университет:

— Несешь?

Вчера мы с ней отпечатали на машинке рассказ, который заказывал мне новый редактор нашей газеты. «Что-нибудь читабельное,— говорил он по телефону.— Хорошо бы на острую тему. Чтобы за живое брало, понимаете, на тираж играло, ну и, разумеется, в художественном отношении было на уровне...»

— Галка, сегодня у меня будут деньги.

— Как в буржуазном мире — сдаешь рукопись, получаешь гонорар?

— Нет, не за рассказ. В издательстве подписали договор на перевод Бахнияза.

— В таком случае, можешь пригласить меня к Герасиму.

Голос у Галки радостный. Она знает, что я третий месяц живу на пассивном балансе, и рукописи, чтобы не отдавать машинистке в долг, она перепечатывает сама.

— После четырех я пойду из университета по направлению к редакции,— продолжает Галка.— И если тебя не увижу, начну звонить в редакцию и создавать вокруг твоей фамилии нездоровый ажиотаж.

Голос у нее ликующий.

У меня тоже отменное настроение. Пусть сегодня еще не решится судьба рассказа, но просьбу нового редактора я выполнил. Не решится судьба рассказа, но подписан договор в издательстве.

Вдвоем с Бахниязом мы перевели с уйгурского его роман о жизни уйгурского колхоза.

На остановке водитель монотонно повторил в микрофон:

— Граждане, приобретайте билеты, не дожидайтесь появления контролера.

«Поражение моей героини — не главное. Я не стремлюсь вызвать слезливую жалость — и только. Одним из главных мотивов рассказа — принципиальность, честность. И в быту и в науке. И сегодня и завтра. И не только в виде троллейбуса без кондуктора с контролером начеку».

В отделе литературы и искусства, где работал мой друг Борис, шел громкий разговор о том, какой отдел будет оставлен: животноводства или сельского хозяйства? Утром на летучке новый редактор не без остроумия заметил: «Как же так, товарищи? Кукуруза на зерно — в ведении отдела сельского хозяйства, а кукуруза на силос — отдела животноводства. А растет она на одном и том же гектаре».

Короче говоря, он предложил объединить два отдела, а ставку одного из заведующих передать вновь создаваемой литературной группе (ее с ходу окрестили группировкой), которая будет готовить публикации, как в «Известиях»: о мире интеллигентного человека, для дома, для семьи, о морали и быте.

И вот теперь шел разговор, кого же он оставит в завах: Горькового или Мезина? Горьковой, заведующий сельхозотделом, молоде, хватистой, энергичней, в редакцию пришел из областной целинной газеты, любит сельское хозяйство и знает его. Но имеет строгач за грубость с начальником производственного управления во время служебной командировки. Мезин строгача не имеет, работает в редакции около двадцати лет, отлично знает животноводство, особенно руководящие и научные кадры. Горьковой горяч, ненавидит очковтирателей и в своих выступлениях больше склонен к разносу. Мезин умудрен стажем, к недостаткам более терпим и неуклонно освещает только положительный опыт, хотя великолепно знает, к примеру, почему пали десятки тысяч голов скота прошедшей зимой.

— Принес? — спросил меня Борис, не нарушая хода предположений.

Он взял рукопись, сел, заложил руки за шею и начал читать. Перевернув первую страницу, сказал:

— Лишать заведывания Горьковского несправедливо, но можно — он не пропадет.

Через две минуты углубленного чтения он поднял голову:

— А лишить заведывания Мезина справедливо, но нельзя — пропадет. Он уже четырнадцать лет завоМ!

Я вышел покурить, надеясь, что Борис, опытный газетчик, не пропускающий ошибок во время дежурства под грохот ротационных машин в типографии, не пропустит и моего рассказа под шум пикейных жилетов.

— По-моему, это то, что нам не повредит, — сказал он мне в коридоре, после того, как я выкурил полпачки. — Великоват, но игра стоит свеч.

Ни в голосе, ни в выражении лица Бориса не уловишь перехода от смешного к серьезному, от печального к циничному.

Нового редактора я увидел впервые. Лет пятьдесят, но бодрый, в сером пиджаке, без галстука, лицо простое, не слишком приветливое, но и не холодное, а спокойное.

— По-моему, это то, что нам не повредит, — повторил Борис, подавая рассказ.

Редактор молча указал нам рукой на два глубоких кресла в белых чехлах. Взяв рукопись, он глянул на последнюю страницу.

— Позвоните в конце дня, — неожиданно сказал он, глянул на меня пристально и добавил, обращаясь к Борису: — В воскресном номере мы его и дадим.

Он знал Бориса, известного у нас критика, члена Союза писателей, надеялся на его вкус и хотел, видимо, подчеркнуть свое доверие сотруднику. Еще раз посмотрев на последнюю страницу, редактор заключил:

— Если не весь, то хотя бы начало... Но я хотел бы поговорить с вами вот о чем. При редакции создается литературная группа.

Хотелось бы видеть вас в числе активных авторов. Причем нас интересует не только художественная проза, но и проблемные статьи по вопросам морали, например, по письмам читателей, по сигналам из областей. Так что, пожалуйста, ждем ваших предложений.

Из кабинета я вышел растроганным. Я знал, что газета — не толстый журнал, что материалы здесь рассматривают с ходу, особенно те, в которых газета нуждается, но тем не менее было приятно.

Когда мы вернулись к Борису, высокий, осанистый и в очках сотрудник отдела культуры говорил:

— Скинулись на троих, а стакана нет...

Как тут ни крути ни верти, а факт знакомства с новым редактором и рекомендация Бориса меня кое к чему обязывали. Я позвонил Бахниязу: а не зайти ли нам в бухгалтерию и не выколотить ли дружными усилиями хотя бы часть аванса?

— Надо поговорить,— пробурчал Бахнияз в трубку.— Давай встретимся в юрте.

Час был предобеденный, и Борис с легким сердцем покинул редакцию.

На тротуарах былолюдно и ярко. Чистая улица Фурманова идет в сторону гор длинным ущельем из тополей. Вдали виден снег на изломах вершин, и сизый асфальт, кажется, льется прямо оттуда, со склонов, где зной и прохлада лежат слоями, как сэндвич.

Захотелось предложить редактору другой рассказ — светлый, бодрый, возбуждающий хорошее настроение. Я обязательно напишу такой рассказ.

Юрта, где мы должны встретиться с Бахниязом, стоит в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев (знаменитая дивизия формировалась у нас), в самом центре города. А в юрте сидит Бахнияз, крупный, плечистый, в тесной клетчатой рубашке, держит палочку шашлыка и ждет пиво.

— Из-за отсутствия нали-ичия,— речитативом начал Борис, подсаживаясь к столу и шаря по карманам. Когда нет гонорара и

зарплаты, «отсутствие наличия» звучит у него заклинанием и призывом. Мы с Бахниязом тоже вывернули карманы, после чего набралось четыре рубля. Заказали официантке две бутылки вина и три пирожка с ливером — обычный, несколько банальный завтрак периферийного журналиста.

Бахнияз открыто мрачен. У него округлое крупное лицо и детские надутые губы. Когда он недоволен, лицо становится еще круглее, а губы еще надутее.

— На востоке тем, кто приносит дурную весть, рубят голову,— проговорил Бахнияз низким бубнящим голосом.— Можешь рубить мне голову, но директор не подписал договор. Запретил сдавать наш роман в производство.

— Мильон терзаний! — отметил Борис, раздвигая на три стороны налитые стаканы.

— Оказывается, он сам лично прочитал нашу с тобой работу.— С того дня, как мы с Бахниязом сели за перевод, он начал называть свой роман «нашей с тобой работой».

— Когда роман выходил на уйгурском языке, директор тоже его задержал. Сам читать не может, начал вызывать к себе писателей-уйгуров по одному и собирать мнения. Я не виноват, что мои товарищи пишут, в основном, стихи, газели, рубаи, а прозу один-другой пробует. Я не виноват, написал роман. Два-три завистника всегда найдутся. Для писателя два-три мало. Арабы говорят: величина башни измеряется длиной ее тени, величие человека — числом его завистников. Для меня два-три мало, а для директора хватит. Расспросил их, вызывает меня и говорит: тот, кто тебя хвалит,— сглаживает недостатки, тот, кто тебя ругает,— своевременно тебе помогает. У тебя, говорит, колхозники слишком большое значение придают материальной заинтересованности. Не хлебом, говорит, единым жив человек. Наши колхозники, говорит, сознательные, они будущее не ради себя строят, а ради всех.

Бахнияз говорит правильно, с небольшим акцентом. Его любимое выражение: «Поэт должен быть рыбонком». Он пишет по-русски так же, как говорит, у него фонетическая орфография. И вообще он прямодушный, открытый человек, таких я люблю.

— Я знал правду, плохо в колхозе было, зачем я буду врать, что хорошо? Для кого? Кто будет читать? Директор будет читать? Нет. Уйгуры будут читать! И тогда у меня и у моих пятерых детей не останется даже одного завистника!.. Чуть не пропал роман. Говорят, один человек ничего не значит, важен коллектив. Один человек очень много значит! Редактор голова — будет роман, редактор дурак — не будет. Мне попался голова. Директор нас через день вызывал: что конкретно добавляешь? Я ему нахально врал. Я что, мальчик? Не читаю газет, не слушаю радио? Отразил, говорю, сознательность, отразил, что не хлебом единым жив человек, — все отразил. Вышел роман, сразу разошелся, заказ на второй тираж поступил...

О своем успехе Бахнияз заговорил на полтона ниже, немного успокоился. В юрте прохладно, гуляет сквознячок. Юрта с виду легкая, голубой низ, разноцветный стеклянный верх. Она легкая, но глянешь на ее остов и невольно подумаешь о сдвигах во всеобщем и полном разоружении — железные, сваренные грубым швом листы вполне сгодились бы на броню среднего танка.

— Мы с тобой надеялись, что директор подписал договор, а оказывается, он прочитать решил нашу с тобой работу. Сегодня я был у него. Сколько лет, сколько зим, говорит, очень рад вас видеть! Так вот, говорит: недостаточно отражена у тебя тема дружбы народов. Я говорю: дружба сама собой разумеется, каждый школьник знает. А роман есть роман, в нем своя композиция, связь событий и персонажей... Не знаю, как мы с тобой обойдем директора, — Бахнияз выжидательно посмотрел на меня. — Он железный человек, бессменный.

— Гвозди бы делать из этих людей, — процитировал Борис.

— Кто его держит на такой ответственной работе? — недоуменно спросил Бахнияз.

— Ты наивный человек, Бахнияз! — воскликнул Борис. — «Кто держит?». Директор не пьет, не курит, на женщину смотрит только как на потенциального врага в области идеологии и сосуществовать с ней не хочет. А вот ты назвал официантку «пэрсик», сидишь, пьешь вино на последние копейки, а дома пятеро детей, верно?

Лицо Бахнияза совсем округлилось, не видно ни носа, ни глаз, одни обиженные губы. Он говорит с большим, чем всегда, акцентом:

— Нишево не понимаю!

Посидели еще недолго, помолчали. Вина больше не было, денег тоже. Я спросил Бориса, можно ли надеяться, что редактор прочтет рассказ именно сегодня. И какое о нем впечатление в редакции вообще.

— Колотися, бейся, все равно надейся. А насчет того, какой он — мы изучаем. Угрюмо и сосредоточенно. — Борис достал папиросу, закурил, нервничает. Дразнил Бахнияза, но сам разозлился и уже не в силах иронизировать. — А пока мы его изучаем, он начал нам фитили вставлять. Литературная группа! Как будто нет отдела литературы и искусства. Решил подправить нашу линию. Дескать, мы слишком увлеклись новыми веяниями. И все из-за того, что мы пришли в редакцию после него.

— Как это после? Он же новый.

— Он-то? Он на этом самом стуле не одну пару штанов просидел. Да еще каких — диагоналевых! После войны пришел — сразу замом, а потом как сел главным и только в пятьдесят шестом ушел... А сейчас — снова здорово.

Ровно в четыре я позвонил редактору.

— Прочитал, прочитал, — ответил он протяжно, подготавливающим, как мне показалось, голосом, каким говорят что-нибудь вроде: «Ну что ж, начнем, пожалуй.» — Заходите, поговорим.

Голос доброжелательный, ничего плохого не сулящий, но тем не менее я настроился на худшее — на отказ. Прежде всего по теме. Медицина у меня — всего лишь фон. Да и по объему велик...

Но как ни старался я готовить себя к наихудшему, в душе все равно надеялся — могут дать. И даже целиком, без сокращения. У газеты небольшой тираж, и новый редактор, естественно, начал искать возможности поднять его. А рассказ острый. И если нозый редактор для начала в чем-то перехлестнет, ему простят.

Я не старался пожирать взглядом лицо редактора, искать свою судьбу в его глазах, глянул этикетно, насколько обязывала вежливость, и лицо показалось мне слишком равнодушным. Но ведь редактор человек бывалый («Да еще каких — диагоналевых!»), не будет он краснеть и бледнеть, как школьница на читательской конференции.

— Прочитал, прямо скажу, с интересом,— начал он неторопливо, подбирая слова.— Чувствуется писательская рука. Умение строить сюжет. И конец закономерен. По сюжету, по замыслу, развязка наиболее подходящая. Ну и... чувствуется знание врачебной работы... Поскольку вы сами врач... Ну и чувствуется...

Чувствовалось, что положительное он собирает, как бы в противовес тому, что будет сказано дальше.

— И язык довольно лаконичный. Местами небрежный... Но в целом, в современной, так сказать, манере. Дело вкуса, но мне кажется, что у вас мало портретов. Не видишь героя, какой он — рыжий, черный, высокий, низкий?

«Какая разница, брюнет или блондин судит о моем рассказе, низкорослый он или высокий. Какая разница? Примет или отвергнет — вот ведь в чем суть».

— Вас, молодежь, не заставишь сейчас писать под Тургенева, вам Хемингуэя подавай, Сэлинджера да Ремарка... Прочитал, повторяю, с интересом.— Он положил обе ладони на мою рукопись, помолчал и очень честно посмотрел мне в глаза.— Но я бы погрешил против истины, я бы не уважал себя и не проявил достаточного уважения к вам, если бы не сказал вам всей правды. Будет он напечатан или не будет — не в том дело. Я хочу поговорить с вами о главном: о теме и о том, как вы ее разрабатываете, о точке зрения автора на выбранный им жизненный материал и наконец о роли и задаче писателя в наши дни. Давайте представим, что ваш рассказ напечатан. Представим чисто практически, без всякой фантазии и без отрыва от наших земных, так сказать, условий. Приходит домой рабочий после напряженного трудового дня. Он честно поработал на наше с вами благо, а о том, что именно он производитель материальных благ, каждый ребенок знает. Ему нужен отдых, он его

заслужил и даже вправе потребовать отдыха от нас с вами. Берет он нашу газету и читает ваш рассказ. Сюжет такой, что равнодушным никого не оставит. А прочитав про вашу склоку, что будет испытывать этот рабочий? Чувство отдыха? Умиротворения? Спокойствия? Он почувствует, что от рассказа устал больше, чем от семичасовой смены. Он раздражается, начинает ворошить в памяти прошлое, припоминает обиды. Вы знаете, отрицательные эмоции к добру не приводят, они парализуют волю человека, делают его озлобленным, инертным, уводят его в сторону от задач нынешнего дня. Причем пишете вы правдиво и убедительно, а значит, в данном конкретном примере, вреднее. Давайте судить здраво, здравый смысл никогда не повредит.

Здравый смысл — это сумма предрассудков своего времени, как известно. Но редактору я ничего не сказал.

— Помимо упадочного настроения в рассказе есть серьезный идейный срыв. Хотели вы того или не хотели, но, акцентируя внимание на том, что мешает нашим ученым, вы тем самым принизили вообще нашу науку. Согласитесь, что каждая деталь, каждый факт в художественном произведении является обобщением, не так ли? Вы просто взяли склоку, как таковую, и с большой натяжкой приписали ее ученым. Но при чем здесь наука?

Понимая, что терять мне уже нечего, я возразил:

— Но ведь литература — не учебник терапии, не лекарствоведение, а человековедение.

— Да, но не все человеческое может служить предметом художественного изображения. Писатель должен создавать примеры, достойные подражания...

Он заговорил с неприязнью, наверное, оттого, что я возразил. Спорить, он, видимо, не привык и поэтому легко срывался на обвинения и укоры. Я решил набраться терпения и выслушать его до конца. Опустив голову, я начал рассматривать свои пальцы. Как будто поняв меня, редактор продолжал спокойнее:

— Я знаю вас как молодого честного писателя. И злободневного. Вот вы о целине хорошо написали... Я думаю, вы не обидитесь на мою откровенность. Не обидитесь?

— Нет, пожалуйста.

— Говоря откровенно, вот это,— он поднял мою рукопись над столом,— выглядит спекулятивно. Не то время. Посмотрит читатель, который вас знает, и скажет: и он туда же! Опять критиканство, опять разрушение вместо созидания!

Возражать я мог только из-за самолюбия, но отнюдь не для установления истины. Да и к чему возражать? Редактор отнесся к автору в высшей степени уважительно, он сделал все, что мог, и не виноват, что я принес неподходящий рассказ.

Он ни словом больше не обмолвился об участии в литературной группе.

Я почувствовал себя отработанным сырьем и понял, что впредь новый редактор прочтет мой рассказ только после того, как я напечатаясь, по меньшей мере, в «Правде» или в «Известиях».

Я слушал и смотрел на старое пухлое кресло перед собой.

Я мог бы согласиться, что рассказ неудачен, если бы его отвергали иначе. Рассказ отвергался моим отрицательным героем. И не пенсионером-общественником, а должностным лицом, нашим новым кормчим. Я поблагодарил, сказал «до свидания» — все честь честью — и вышел.

На улице, возле газетной витрины стояла Галка. У нее голые ноги, голые руки — жарко,— длинные волосы прихвачены сзади приколкой и оголяют шею. В руках у нее красная сумка, взбухшая по середине валиком. Валику в сумке тесно, и он приобрел очертания винной бутылки — нашей визитной карточки для Герасима, дачного сторожа в Аксае. Когда Герасиму попала в руки моя книжка, он открыл ее с конца, глянул на выходные данные, тщательно помножил цену на тираж, сказал: «Ого!» — и, видя наши скромные приезды, стал относиться ко мне с особым почтением за бережливость, за «хозяйственность».

Возле Галки стояли двое юношей. Из карманов на их аккуратно обтянутых задах элегантно высовывались полоски белой бумаги. С кривой неопытной ухмылкой юноши пытались заговорить с Галкой. Она стояла, заложив руки за спину, и читала газету. Галка, когда не в духе, сердится: разве мало других хорошеньких, почему

пристают непременно к ней? И обязательно дурачье: «Девушка, вы не меня ждете?», «Девушка, у вас спина сзади», «Девушка, вам куда, садитесь, подвезу», «У, не дай бог такую жену!».

— Два коль, мальчики, встреча окончена.

Я взял Галку за локоть. Будь я спокоен, возможно, сказал бы ухажерам что-нибудь поумнее. Но гнев, говорят, плохой советчик. Жизнь вlepила еще один штрафной в мои ворота.

Штрафные назначаются за нарушение правил. Сам ошибку не осознаешь — есть судья. И чем он строже, тем больше штрафных и тем правильнее игра. А результат — не его забота.

— Ну как? — Галка смотрит на меня и ждет только радости. — Все в порядке?

Ее голос я слышал утром и слышу сейчас. Он мне понятен и нужен. А как понять, как принять все то, что было в промежутке? В чем тут суть, какая и кому от нее польза?

Галку не огорчают любые мои неудачи, лишь бы я не выдал своего огорчения. Мужество она считает свойством самым романтическим, главным.

— Все в порядке, Галка, здравый смысл по-прежнему торжествует. У тебя есть деньги?

— Два рубля и сколько-то копеек.

— Можешь пригласить меня к Герасиму.

## БУТЫЛКИ

Бутылки — Бутырки. Вместо «Языком мели, а рукам волю не давай» стали говорить: «Не лезь в Бутырку». Один мой приятель по Литературному институту, побывав там перед сломом, писал, что «кирпич тюремный, багровый, старый, ты справедливой дождался кары».

Однако я хочу написать совсем о другом. Просто, не зная, с чего начать, я вспомнил своего приятеля-неудачника. Он часто не знал, с чего начать день, и начинал с бутылки.

Все это не выдуманно мной, и сразу оговорюсь, что и впредь ничего не буду выдумывать — ни сюжета, ни конфликта; и все, что произошло далее, произошло именно со мной, а не с тем, кого принято называть лирическим героем.

Сегодня я встретил старика, обыкновенного, пожалуй, даже заниженный вариант обыкновенного старика (хотя, возможно, так показалось на первый взгляд).

Встретил здесь, в Алма-Ате, в районе КИЗа. Казахский институт земледелия переведен отсюда лет пять или семь тому назад в другое место, и понастроено вокруг жилых домов — название одно сохранилось. Видимо, лучше уж Киз, Кис, как угодно, лишь бы не Мокрый район.

Так вот, на этом самом КИЗе есть улица Чапаева, на углу магазин, перед ним — пустырь, на котором строится, по слухам, Республиканская больница. На пустыре робкая низкорослая акация вперемежку с густым и реденьким, лежащим и торчащим кураем. Среди акаций выбиты тропинки, то там, то здесь видны серые обрывки газет, блестят консервные банки, иногда донышки бутылок.

Год назад на этом пустыре мы провожали в путь одного из своих собратьев по перу. Писал он много, но ему хотелось еще и печататься. А с этим не ладилось, как ему говорили, именно потому, что он не знал жизни. А для изучения жизни надо, разумеется, куда-то ехать. На низы. Из Москвы ли, из Алма-Аты ли, из какого-ни-

будь райцентра, но ехать непременно. Чем ниже, тем, надо полагать, глубже.

В тот прощальный день он несколько раз повторил: «Еду в деревню». Слово «деревня» звучало старомодно (нынче говорят: «На целину», «На Ангару»), отчего и сам порыв нашего собрата — искать жизнь — тоже выглядел старомодным и неестественным.

Короче говоря, в тот вечер мы пришли на этот пустырь с бутылками вина под мышкой и сели в кустах, подальше от милиционера. Мы разожгли небольшой костер из сухого курая, и отъезжающий со словами «Гоголь тоже сжег «Мертвые души», бросил в огонь третий экземпляр своей рукописи — для костра первый экземпляр необязателен. Мы прыгали через огонь, пили вино из бумажных кульков и радовались тому, что и в тридцать лет еще способны прыгать и нарушать постановление горсовета о распитии спиртных напитков. Один из нас то и дело приплясывал и все жалел, что каблуков не слышно, глушит курай, и тут же вспомнил, как однажды в изыскательской партии они отмечали успех. Выпить выпили, а плясать невозможно, кругом песок. А без притопа что за пляска? Остановили грузовик с саксаулом, сгрузили поклажу и, пока не посбивали каблуки, плясали в кузове...

За год на пустыре многое изменилось. Выросли здания больницы, одинаково современные, со стеклом и бетоном, и я подумал, что ничто так быстро не стареет, как одинаковая сверхсовременность. Именно одинаковая.

Я стоял один в тени акаций, в стороне от тропинки, и пил вино из горлышка. Вечер был сырým, но теплым, с неуловимой грустью ранней осени. Солнце уже скрылось за домами, медленно зацветал высокий закат, небо было чистым, только где-то за Выставкой дымила высокая труба. Дым шел медленно, лениво, густо клубился и напоминал гриб на прямой ножке.

Я даже умилился, увидев рядом утлый стожок из кукурузных побуревших будыльев. Это был наш стожок. Я ворохнул его носком ботинка и увидел покрытые пылью бока бутылок, тех самых, прошлогодних, наших.

Я не спеша тянул вино маленькими глотками и думал о том,

что как ни стараются урезать значные места, все-таки выпить можно, да к тому же еще на свежем воздухе. Яркий закат, прохлада вечера, глоток за глотком, все вместе позволяло думать о чем угодно. О Рерихе, например, о его индийских пейзажах и резких красках заката. О тишине и осени. Хорошо было ощущать весомость бутылки и думать, что до дна еще далеко, хотя там и лежит, как известно, истина.

Одним словом, было блаженно и тихо до той минуты, пока я не услышал странный, прерывистый шорох в кустах неподалеку. Он напоминал неловкие, то сильные, то слабые удары косы по траве. Потом на тропинке показался и сам косарь — старик с жердью, в долгополом, обвисшем пиджаке и в кепке с длинным, как пеликаний клюв, козырьком. Он то размахивал жердиной по траве, то ширял ею как щупом в кусты между акациями. Вот что-то звякнуло. Старик положил жердь, неторопливо нагнулся и поднял пустую бутылку. Привычным движением он потер пальцами горлышко — не сбито ли, и сунул бутылку под пиджак. Потом снова поднял жердь и снова начал энергично ширять ею то вправо, то влево, пока не заметил меня. Мне показалось, что косарь растерялся. Но ненадолго. Наверно, увидел у меня в руках бутылку — свой брат — и успокоился. Однако продолжать поиск не стал. Не спеша, без суеты он приподнял жердину на плечо, как удочку и повернул обратно, но тут я окликнул его:

— Здесь вот еще есть!

Он приостановился и спросил: «Одна, что ли?», как будто привык только к оптовым предложениям.

— Целых шесть. С прошлого года лежат.

Старик приблизился.

Сейчас я думаю: отчего ему было неловко? Оттого, что тут оказался невольный свидетель его несолидного, в общем-то, занятия? Но судя по оснащению, он привык к такому промыслу. Может быть, его смутил мой вид — костюм, белый воротничок, галстук — вид интеллигента, а следовательно, казенного человека? Но ведь наполовину опорожненная бутылка в моих руках говорила о том, что мы, в общем-то, собутыльники: поставщик посуды и ее потребитель.

— Один пьешь? — спросил старик.

— Товарищ в магазин побежал, — соврал я, зная, что в понятии простонародья пить в одиночестве — дикость.

— Промышляем? — спросил я без тени насмешки.

Старик пожал плечами.

— Получается? — продолжал я.

— А кому деньги-то не нужны? И тебе надо и мне надо.

Кажется, именно тогда мне и захотелось написать о встрече.

Но кто он, этот человек? Надо же, как учат нас, не просто фотографировать жизнь по принципу «увидел—записал», надо прежде всего найти главное, вскрыть сущность явления. Передо мной был просто старик, собирающий бутылки, и кто его знает, в чем была тут сущность явления.

Старик между тем стоял передо мной, будто согласный терпеливо ждать, пока я в нем разберусь.

— А у вас что... наверно, дети есть, внуки? — спросил я.

— Много будешь знать, плохо будешь спать, — ответил старик и повернулся, чтобы уйти.

Он, пожалуй, обиделся, и я решил не вскрывать явления — пусть останется один внешний факт.

Я не люблю, когда со стариками говорят на «ты», но сейчас вежливая форма могла отпугнуть его окончательно и оставить меня в одиночестве.

— Да куда ж ты торопишься, старина! Даже бутылки не забрал, — окликнул я. — Вот они — шесть штук. Думаешь, вру?

Я быстро разворошил ботинком кукурузные будылья.

— А чего — я не ворую, — сказал старик, возвращаясь.

Он присел возле бутылок, начал поднимать каждую и сдувать пыль.

— Товарищ твой, видать, в очереди стоит, — сказал он миролюбиво.

— Видать, стоит.

— У нас очередь любят. Без нее плана не дают.

— Как это понимать?

— А так. Видят, например, в каком-нибудь магазине очередь.

День очередь, другой очередь. Ага, значит, торговля идет! Раз — и план повысили.

— А если очереди не стало?

— Поздно! Кукуй, не кукуй, план останется. А ты что, не здешний?

— Почему-то все старики любят насчет политики заворачивать. И не боишься?

— А ты кто такой? — спросил он задиристо. — За болтовню сейчас не сажают. Сейчас за жуликами надо следить. Вот за взятку расстрел дают. Не зря.

— Не зря, — согласился я.

Старик тщательно вытер бутылки о траву и рассовал их по карманам.

— Вон кто-то шебаршит в кустах, товарищ твой идет, — сказал он. — Покеда.

Зная, что нет там моего товарища, я все же охотно обернулся. В кустах промелькнуло светлое платье, послышался приглушенный говор мужчины.

Старик уходил от меня в сторону дымившей трубы. Я смотрел вслед ему с досадой и неожиданным отчаянием.

— Эй, дед! — крикнул я злым голосом.

Старик остановился, негромко предостерег:

— Поори! — И, прежде чем отвернуться снова, пояснил: — На асфальте вон дружинники ходят.

Я отхлебнул последний глоток.

— Возьми еще одну — пустая!

— Хватит. Полный.

Старик поднялся на пригорок и весь стал виден, врезываясь в закат: черный, четкий, согнутый. Бутылки из его карманов торчали, как гранаты.

# ХРАНИ ОГОНЬ

Повесть

I

Понедельник — день тяжелый. Даже молодые, без опыта капитаны, не говоря уже о старых морских волках, не выходят в рейс в понедельник. Если жесткий портовый график обязывает выйти именно в этот день, судно отчаливает хоть через полминуты, но после полуночи, когда уже наступит вторник.

Назаров — тоже капитан в своем роде.

Вчера, в понедельник, случилась крупная неприятность, но пусть она будет пробным камнем для решимости Назарова — сегодня он начинает жить по-новому!

Хватит, он уже потерзал себя, чтобы наконец от слов перейти к делу.

Говорить о переменах и раньше ничто не мешало — гадай, мечтай, обещавай, клянись, — а вот проводить их не давала повседневность или, попросту, текучка. Ты хочешь одного, а текучка — другого. И неудивительно, ибо жажда перемен — желание только твое, а текучка — это «неотложные» дела многих. И как раз, может быть, потому, что кто-то из многих, самый ловкий и оборотистый, с первых служебных минут энергично берется за прежнее, ты слепо исполняешь его волю, а не свою, ибо у него уже — дело, привычное, вчерашнее. А у тебя всего лишь намерение, ты все еще закатываешь рукава.

Но приходит день, когда ты устаешь от ощущения невыполненного долга и хочется бросить текучку ко всем чертям. В этот критический момент чувствуешь себя обязанным круто поступить там, где прежде осторожничал, с лихвой покрыть прежние издержки.

И тут уж, доктор Назаров, не обойтись без административной жесткости, без нагоняя подчиненным, если хочешь перемен. Тогда-то и произойдет перетасовка доброжелателей и злопыхателей, сторонников и противников. А что, как не перетасовки, прежде всего создают в коллективе ощущение перемен, новизны?

Он проснулся бодрым, соскочил с постели — вот и настал наконец решающий день!

Боевые переделочные настроения бывали у него и прежде, но всякий раз могучая повседневность снимала преобразования с повестки дня.

— Накось, выкуси! — пробормотал Назаров и начал энергично приседать и подскакивать.

Обстоятельства теперь сложились подходящие: только-только отгремел пятилетний юбилей института, Назаров проводил в Москву высоких гостей — академиков Блохина и Шабада.

Хотелось чем-то подкрепить свою решимость, и вот по какой причине.

«Скажите, а сколько приходится вам тратить времени и энергии на разрешение конфликтов и недоразумений? — спросил Назарова два дня тому назад корреспондент «Казахстанской правды». — В процентах к тому, что вы тратите на свои непосредственные задачи как директор. Приблизительно, конечно».

Назаров ответил, что совсем немного. И времени и энергии.

Лицо корреспондента выдало разочарование, однако ненадолго, — новая мысль засветилась в его глазах. Назаров, кажется, понял: сначала молодому журналисту очень хотелось еще раз ударить по ненавистой склоке. И верно — кому она не надоела, у кого не сидит в печенках? Причем ударить не только эмоциональными восклицаниями, но и цифрами.

А вторично корреспондент загорелся от того, что в институте

онкологий и радиологии, хоть он и научно-исследовательский, сложка отсутствует. Это ведь еще удивительней...

Назаров представлял простенькую схему его статьи, но усложнять не хотел, зная приблизительно, что газете требуется, а что нет...

Назаров завтракал по-американски: яичница с ветчиной и черный кофе. Обычно же утром он пил крепкий чай со сливками и баурсаками — жареными в бараньем сале пончиками.

Бывая за границей, то в Англии, то в Индии, то в Соединенных Штатах, он всякий раз старался соблюдать в мелочах быта привычки своего народа. Он полагал, что эти мелочи можно с успехом приспособить к любым условиям, только в их, так сказать, европейском виде. Неприемлемые вначале чужеземные мелочи приобретали затем обратную силу — возвращаясь в родную Алма-Ату, в свою квартиру, он стремился завести их у себя. Такая переимчивость помимо всего прочего давала Назарову свободу утверждать и свое перед иностранцами, хвалить, к примеру, свои национальные блюда (по принципу: я отведал вашего, теперь вы отведайте моего), и когда Назаров видел, что кому-то из приезжих действительно пришлось по душе конская колбаса или традиционный бесбармак из баранины, он по-детски радовался от взаимного дележа.

В юбилейные дни Назаров устроил для именитых москвичей роскошный обед в юрте. И хотя юрта была современная, с дюралевым остовом, с пенопластом вместо войлока, еду подавали самую что ни на есть старинно-казахскую — казы, чужук, вяленую постную конину — жаю, и все это запивали терпким, хмельным кумысом. Гости с аппетитом ели, интересовались, как готовится это, как то, а один из химиотерапевтов заметил, что кумысолечение в русской медицине впервые поднял на высоту Герценштейн. Почти сто лет тому назад у него вышла работа «Кумысолечебные заведения Приволжского края». Лукаш тут же дополнила московского гостя: «И не только Герценштейн. В 1880 году вышла работа Костюрина о наблюдениях над действием кумыса в лесной санаторной станции «Славута». Гость несколько опешил — ему хотелось лишь похвалить кумыс, так сказать, в историческом аспекте и не выделять какого-то одного уче-

ного в ущерб другому. Но Лукаш, привыкшая к тому, что кумыс можно пить и совсем не обязательно хвалить со ссылками на столетнюю давность, обострила разговор, чему в немалой степени способствовало содержание в кумысе от двух до четырех процентов алкоголя.

«Герценштейн вообще известный ученый,— стесненно продолжал москвич, желая оправдаться перед напористой Галиной Федоровной.— Он писал о медицинском образовании, о медицинской географии и сифилисе в России...»

Лукаш на этот раз вежливо согласилась, поддакнула, но в общем дело свое сделала, гостя, что называется, осадил.

«Вам-то и придется, Галина Федоровна, в первую очередь помогать мне ломать текучку!..»

Любопытно, что если с утра зарядишься желанием новизны, то будешь почти во всем выискивать только новое. И находить.

Будто в первый раз увидел Назаров свою «Волгу» — ее конечно мыли и чистили сегодня тщательнее прежнего, будто в первый раз встретил и шофера дядю Петю. Шоферу было тридцать пять лет, но все почему-то звали его дядей Петей, в том числе и сам Назаров, которому дядя Петя годился в сыновья, если учесть, что, по шариату, казаха могли женить пятнадцатилетним.

Глянул Назаров на дядю Петю — и чуть не крикнул от досады. На шофере была элегантная сорочка из трикотажного нейлона с отделкой по вороту — ну точь-в-точь такая, как у директора. И цвет, главное, такой же: табачно-жухлый, моднейший.

Вырядились, черт возьми! Униформа Института онкологии и радиологии.

Но не возвращаться же теперь Назарову в дом. Да еще в такой революционный день — пути не будет.

Глянув на шефа, дядя Петя самодовольно улыбнулся — дескать, мы с Назаровым знаем дело!

Длинно шурша шинами, машина развернулась и выехала на проспект Коммунистический.

Назаров глянул на часы. И вдруг подумал, что они с дядей Петей не только в одинаковых сорочках, не только...

Они проживают, они тратят сейчас один и тот же отрезок времени! Один и тот же.

Стоит ли думать об одинаковых рубашках?

Только по-разному тратят — один везет, другой просто едет, один работает, другой перемещается в пространстве. Потом они поменяются ролями — один будет обходить больных, консультировать будущих кандидатов наук, делать назначения радиологам, а другой, полулежа в кабине, будет читать «Юность». Про жуликов. И про иронических мальчиков, которых любит и которым подражает сын Назарова.

Неожиданно найденная общность — время, на которую никто прежде не обратил внимания Назарова в такой вот популярной форме, всю дорогу занимала его. Сейчас бок о бок дядя Петя и он, Назаров, тратят один и тот же отрезок времени. Гм!.. Но не только они вдвоем. Тот же отрезок времени Назаров использует сейчас и вместе с выдающимися онкологами современности, допустим с Н. И. Блохиным и с Леоном Шабаром...

Все мальчишки тратят одни и те же отрезки времени — школа, первый класс, второй класс и так далее. А после школы каждая минута у них разнится (занимательная получается хронология!). В результате один становится, к примеру, дядей Петей, шофером первого класса, талантливым водителем, механиком, у которого любая «маруся» побежит и в гору, и со скоростью сто километров. Другой, используя точно такие же отрезки времени, становится доктором медицинских наук, профессором и директором научно-исследовательского института.

Одни и те же отрезки времени тратило человечество вместе с Пастером, Мечниковым, Павловым, Толстым, Бетховеном. Одни и те же!.. Как, должно быть, досадно человечеству!

И, черт возьми, досадно Назарову тратить отрезок времени, именуемый словом «сегодня», на вчерашние дела.

...В подъезде у самых дверей он столкнулся с Есетовой. Она поздоровалась, приостановилась, уступая дорогу, хотя прежде проходила уверенно и даже мешкала у двери, явно выжидая, когда Назаров откроет ей — женщине. Стройную миловидную Есетову

всегда назначали встречать иностранных гостей, на что она охотно соглашалась. Сегодня ее лицо было усталым с двумя стоячими морщинами меж бровей.

Беда не красит, вина — тоже. Вчера Есетова вместе с Замятиным оперировали больную Трацевскую — она умерла на операционном столе.

Назаров широко распахнул дверь, глядя в пол, пропустил Есетову, а в коридоре обогнал ее быстрым шагом.

## II

Каждое утро в половине девятого в кабинет директора входили заместители: по научной работе — Галина Федоровна Лукаш и Сергей Сергеевич Замятин — по лечебной. Они обсуждали текущие дела, прежде всего институтские, обсуждали коротко, подольше говорили о том, что предстоит сделать, и в заключение Лукаш позволяла себе рассказать один-два свежих анекдота, далеко не всегда изящных, чаще, так сказать, мужских, а Сергей Сергеевич предпочитал делиться политическими новостями из газет.

Галина Федоровна, маленькая, чернявая, энергичная, пришла в институт в первые дни рядовым терапевтом на должность младшего научного сотрудника. Здесь она защитила кандидатскую по химиотерапии, здесь вступила в партию. За институт она волновалась больше других, страдала больше других, и было бы противоестественным избрать секретарем партийного бюро кого-то другого.

Сегодня, едва Лукаш переступила порог, Назаров сказал:

— Будем жить по-новому, Галина Федоровна!

— Как всегда, Айдар Назарович.

— Нет, совершенно по-новому! — уточнил Назаров.

Лукаш всегда слушала директора молча, как бы желая подчеркнуть субординацию. Но едва дослушав, тотчас выпаливала свои пожелания, предложения, требования.

— Решение мое окончательное, Галина Федоровна, и обжалованию не подлежит, — продолжал Назаров. Если прежде громкие фразы он сопровождал легкой улыбкой, то сейчас и бровью не повел. —

Кое-какие меры мы обсудим сначала с вами, потом вынесем на ученый совет и партийное бюро.

Назаров достал из портфеля тоненькую папку, подумав: «Будем считать ее исторической...»

— Вполне возможно, что вам кое-какие положения знакомы,— продолжал он,— но я еще раз напомню их, ибо отныне они должны стать не положениями вообще, а нашим руководством к действию.

Он видел, что Лукаш не терпит сказать о чем-то своем, что, слушая, она истомилась от сдержанности, только и ждет момента подать голос. А уж если подаст, то грянет во всемогуществе ее величество текучка.

— Минутку! — сказал Назаров и начал твердо и громко, словно очередной приказ министерства, читать газетную вырезку:

— «Существует, по крайней мере, три главных способа воздействия на работу ученых, чтобы поднять ее эффективность. Назову их для краткости моральным, финансовым и кадровым. Несомненно, наиболее важен первый. Выбор правильного направления научной работы, хорошее ее выполнение в значительной мере определяют отношение к ней ученых... Это наша первая задача, Галина Федоровна. Самым внимательным образом ученый совет должен еще раз пересмотреть темы кандидатских. Особенно у тех сотрудников, которые только что приступили к работе, или готовятся приступить. Те, кто уже написал диссертацию — пусть, бог нам простит. Далее: «Один из путей общественного воздействия — обсуждение проблематики и отдельных тем на научных собраниях. Надо сразу признать, что тут мы еще далеки от совершенства». Возьмите, Галина Федоровна, наши заседания городского общества онкологов. Ведь, в основном, ликбез получается. И вот что я особенно хочу подчеркнуть: у нас низка культура дискуссий и научных споров! Очень низка, Галина Федоровна. Зубатиться по личным вопросам мы наловчились, а вот деловой спор!..

Статья, которую цитировал Назаров, принадлежала перу академика Петра Леонидовича Капицы. Назаров чтит этого ученого, как, впрочем, всех представителей новой физики, особенно в области высоких энергий. Кандидатскую Назаров защитил по рентгено-

логии, а докторскую уже по радиологии и, естественно, должен был разбираться кое в чем и не медицинском. Он, впрочем, и разбирался, однако важнее была его страсть, любовь ко всему, связанному с физикой. И если он читал статьи и монографии, допустим, об этнических особенностях рака, о его географическом распространении, о резистентности, или о чем-то другом, конкретно касающемся клинической или теоретической онкологии, то читал бегло, привычно, а иногда даже с раздражением от нередкого дублирования и повторов. Другое дело — физика, особенно область высоких энергий. Подобную литературу он читал с упоением, видимо, как всякий дилетант.

Хотя кто сказал — дилетант? В институте освоена мегавольтная лучевая терапия, применяется бетатрон и линейный ускоритель. Во всей стране таких установок — раз-два и обчелся.

— Это Капица пишет, академик Капица, ученик великого Резерфорда, — на всякий случай пояснил Назаров. — А физика, как вам известно, Галина Федоровна, в институте не на последнем месте.

Она кивнула, прерывисто вздохнула, явно желая вставить что-то свое, безотлагательное, но Назаров продолжал:

— «Наука — дело творческое, как искусство, как музыка. Нельзя думать, что, создав в консерватории отделение по написанию гимнов или кантат, мы их получим; если нет на этом отделении крупного композитора, равного по силе, например, Генделю, то все равно ничего не получится. Хромого не научишь бегать, сколько денег на это ни трать. То же самое и в науке».

Лукаш явно заскучала, но Назаров упрямо продолжал — пусть переоценка его начнется именно сегодня, пусть все почувствуют его власть, настырность, жестокость (как хотите, так и назовите) и прочие атрибуты ученого деспотизма.

— И последнее, Галина Федоровна, «Финансы — это третий способ воздействия на развитие науки. Деньги на исследования у нас есть, государство не скупится, получить их нам легче, чем, например, американским ученым. Но вспомним — есть такая детская игра: «Вам барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите», — а потом следует добавление: «черного и белого не покупайте, «да» и

«нет» не говорите» и т. д. и т. д. Так что, оказывается, истратить сто рублей без ухищрения невозможно. В этом же положении и директор: ему дают деньги, но сильно ограничивают при решении вопроса, как их тратить».

Вошел Замятин, глуховато сказал: «Здравствуйте» и сел у двери на стул, как чужой.

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич! — с явным сочувствием ответила Галина Федоровна.

— Мы обсуждаем проблему, как жить по-новому, — пожалуй, излишне торопливо сказал Назаров. — Нам это, в общем-то, не трудно сделать, потому что ломать особенно нечего. Институт еще не устоялся, не закоснел в каких-то привычках. Ни плохих, слава богу, традиций, ни хороших. Пока для нас отсутствие традиций — хорошо, нет их, и никто не скажет, что при Назарове было так вот, а при Сидорове, Иванове, Петрове иначе. У нас пока никак, но если это «никак» мы не заполним сознательно, оно заполнится бессознательно разной мелочью. Представьте себе, движется ледник, такая машина, и пустоты заполняет всякой мелочью. Накапливается вода, и рано или поздно моренные воды прорываются и дают сель — катастрофу. Прошу извинить за примитивное сравнение.

Все эти моренные нагромождения возникли и переполнили душу Назарова именно сейчас, когда он глянул на лицо Сергея Сергеевича, как будто для того только и выбритое, чтобы лучше показать глубокие морщины. Видно было, что Замятин провел не просто бессонную, а мучительную ночь. Белесые брови и ресницы хирурга, клинышки висков ниже белого колпака, казалось, посветлели больше прежнего.

Назарову захотелось веской фразой, неожиданным сравнением отодвинуть угрозу подальше. Он понял: вчерашняя смерть на операционном столе — это не просто казус, это беда, это, может быть, вина хирурга Замятина, наркотизатора Есетовой и всего института.

Назаров понял, отчего так не терпелось Лукаш. Выбрал же он время цитировать Капицу!

Наступило молчание. Галина Федоровна смотрела на директора. Замятин, судя по хмуро-замкнутому виду, по опущенным углам

губ, приготовился только отвечать и ждал вопросов, чтобы все все поняли, пусть ничего не простили, но хотя бы знали...

Назаров ценил Замятина, они долго работали вместе, еще до института, знал и любил Сергея Сергеевича.

Назаров мельком глянул на Галину Федоровну. Она даже чуть подалась вперед, но крепилась, видимо, огорошенная столь необычным вступлением директора.

О чем она скажет? Возможно, станет обвинять Замятина. Она такая, по словам дяди Пети, начинает тормозить, когда уже сшибет человека. Но ведь Сергей Сергеевич наверняка осуждает себя сам больше любого стороннего обвинителя.

— Сергей Сергеевич, мы только что говорили с Галиной Федоровной о некоторой перестройке в работе. И непременно к этому разговору вернемся. Может быть, даже сегодня...— Теперь следовало бы улыбнуться для разрядки, но прежде найти повод, сказать что-то легкое, банальное.— Как это говорят: ученье — свет, а неученых тьма? — Назаров с усилием улыбнулся.— А теперь расскажите, что вчера произошло.

Замятин качнулся из стороны в сторону, оперся локтями о колени, соединил руки перед собой, как это делают дети, играя в ледокол.

— По нашей вине,— сказал наконец он, откашлялся и замолчал.

Если бы так сказал кто-то другой, Назаров одернул бы: ишь, нашел способ защиты, лапки кверху и — лежачего не бьют? Но в словах Замятина звучало не ложное самобичевание, а признание факта как бы со стороны.

Замятин молчал долго, и Назаров вынужденно протянул:

— Та-а-ак... А конкретней?

— Наркоз эндотрахеальный, с релаксантами. Больная уснула. Начали. Успели взять на биопсию. Наркоз уменьшили — шок. Вывести не удалось. Я думаю, что смерть — от болевого шока.

— Наркотизатор — Есетова?

— Да, Марьям Омаровна.

Назаров продолжительно вздохнул. Он представил картину шока, его простой, довольно жуткий механизм. Однажды делали об-

ширное удаление молочной железы. Под таким же наркозом. Когда женщина очнулась, сразу произнесла: «Вы меня чуть не зарезали... Сначала я ничего не чувствовала, а потом проснулась — и мне больно-больно! А крикнуть не могу, нет голоса..» Это релаксанты расслабили голосовые связки.

Страшная смерть — в полном сознании, с явным ощущением, что тебя режут спокойно, грамотно, профессионально. Короткая здесь цепочка: боль от ножа, шок от боли, смерть от шока.

Назаров невразумительно помычал, и Лукаш наконец прорвало:

— Вы меня как-то упрекнули, что я бываю несправедлива к некоторым сотрудникам, в частности к Есетовой,— в голосе ее звучала обида.— Не подумайте, что я опиралась только на женскую интуицию. В отношении Есетовой настораживали факты. Вы их и сами знаете, Айдар Назарович. Факты эти не только настораживали, а призывали нас принять меры. Но к чему все сводилось? Главным образом к тому, чтобы утихомирить секретаря партийного бюро, вашего покорного слугу. Вполне возможно, что я излишне горячусь порой, но вспомните: из-за Есетовой уволились Рацбаум и Тобояков. Рацбаум — опытнейший анестезиолог, ее с восторгом приняли в институте хирургии, а Тобояков уже заведует отделением в больнице на Геологострое. Выходит, что Есетова целеустремленно и последовательно готовит кадры для других лечебных учреждений. Не за это ли мы представили ее к значку «Отличник здравоохранения»?

При желании ее вполне можно было обвинить в злорадстве.

— Трагический случай, который произошел вчера, это не случайность, его давно следовало ожидать и можно было предупредить, Айдар Назарович,— продолжала Лукаш.

— Извините меня, Галина Федоровна, но это фельдшеризм — вот так, с кондачка, судить и рядить, с ходу находить виновных. А вы, как известно, заместитель директора научно-исследовательского института, да еще по научной работе. Сначала надо бы исследовать случай и не спешить с выводом,— не без раздражения отметил Назаров.

Лицо Лукаш покрылось пятнами.

— Я верю Сергею Сергеевичу,— расстроенным голосом оправ-

далась она.— Мне кажется... нет оснований ему не доверять. Если я терапевт, то он, как вам тоже известно, хирург.

Нет, она не торжествовала, просто-напросто она была права в своей настороженности к Есетовой. А Назаров в своем либерализме — не прав. Впрочем, это он понимал и тогда, когда подписывал заявления Тобоякова и Рацбаум. Но ни тогда, ни теперь он все еще не верил, что Есетова так невежественно-примитивно виновата в случившемся.

Услышав нарекания в адрес врача, не только своего, а вообще, Назаров прежде всего испытывал досаду и внутреннее несогласие, даже если действительно врач допустил ошибку.

Один пырнет другого ножом в подъезде — начинается судебный разбор: по какой причине, с какой целью, хотя яснее ясного с какой — угробить. Так же яснее ясного цель врача в любой ситуации — спасти. А если произошла ошибка, то не по злему умыслу, а в результате добросовестного заблуждения, посильного старания помочь. Общество не должно приравнивать преступный умысел к ошибке.

Парадокс, но чем лучше, опытнее врач, тем больше у него ошибок; Назаров и сам убеждался в этом и от москвичей слышал не один раз. Почему? Да потому, что наиболее толковому специалисту приходится разбирать наиболее сложные случаи; нередко хорошему специалисту, попросту говоря, подсовывают сложных больных те врачи, которые не хотят (избегают, трусят попросту) разобраться, поставить диагноз и лечить сами. А настоящий медик в силу призвания, своего исцелительного дара охотно идет навстречу сложности, ибо для него в этом подлинный смысл жизни. И естественно, рискует.

...Неподвижный Замятин проговорил:

— А кроме того, — ровный такой деревянный голос, — биопсия показала, что опухоль доброкачественная.

В трудную для себя минуту Назаров нередко вспоминал именно Замятина, хотел подражать ему, и тайно был уверен, что у него, в общем-то, получается не хуже, да еще, пожалуй, с назаровским колоритом, то есть еще крепче. Вот только переплеты, в какие попадает Замятин, зависти не вызывают.

Тихий, на первый взгляд уравновешенный, Замятин был далеко не робкого десятка и порой довольно горяч. Привычная сдержанность нередко покидала его в обращении с молодыми сотрудниками, особенно с теми, у которых на всем облике было написано этакое разудалое стремление прежде всего преодолеть кандидатскую, защитить ее на манер спортивного разряда по самбо.

Платили ему той же монетой. Воспринимая вначале Замятина как «ни рыбу, ни мясо», спортивные мальчишки скоро убеждались, что именно такие вот тямти-лямти не дают им пожинать лавры спокойно и без помех, являют собой как бы живой укор, тот самый идеал русского врача, который, по мнению резвых юношей, отошел, закатился вместе с земством и прочей патриархальщиной.

Глядя на Замятина, нетрудно было убедиться в том, что скромность — удел мужественных, а отсутствие карьеризма — это истинная любовь к своему ремеслу, к тому, что подлинные поэты называют искусством.

Кандидатскую Сергей Сергеевич защитил в сорок лет, и очень легко. По той парадоксальной причине, что не стремился к ней. Особых выгод диссертация ему, практическому врачу, не сулила. Статьи он публиковал, потому что был опыт и просили редакции. А когда пришел в институт, именуемый научно-исследовательским, ученый совет, как и положено, потребовал тему. Замятин ее сформулировал, ему дали срок — ничего не оставалось, как защищать. Одним словом, это был типичный средний человек, но опять-таки — на чей взгляд? Замятин безусловно владел сложной, весьма трудной методикой операции Вертгейма, которой более или менее владели в республике пять-шесть хирургов из тысячи. В этой связи Назаров не раз наблюдал любопытный психологический завиток. Как и в большинстве профессий, есть у медиков кулуары и есть у медиков общественность — совсем не одно и то же. Общественность умалчивала про хирурга Замятина, а кулуары, как водится, знали что к чему. В числе именитых специалистов Замятина могли не назвать, но стоило возникнуть необходимости в операции Вертгейма, имя хирурга Замятина всплывало в самой что ни на есть конкретной форме. Одним словом, если спрашивали, кого отметить к той или иной дате,

называли Иванова, Сидорова, Петрова и др. Но на вопрос, к кому лечь на операцию, отвечали, что только к Замятину, и уже без всяких др.

Вчера он намеревался провести свою сто сорок восьмую операцию по методике Вертгейма. Предстояло кропотливое, осторожное удаление тканей во избежание метастазов, разумеется, если биопсия покажет, что опухоль злокачественная.

К смерти невозможно привыкнуть,— думал Назаров.— Обыватель не может привыкнуть, а врач, пожалуй, должен. Заставляет жизнь.

Замятин оказался избавленным от очередной операции Вертгейма, а Трацевская — от жизни. И вот эту разницу директору или кому-то другому предстояло восполнить чем-то равноценным, иначе не будет гармонии.

Помимо смерти нелепой, бессмысленной в мире существует смерть необходимая, целесообразная и даже героическая. Следовательно, надо судить о каждой смерти конкретно. Какая она? В результате чего произошла? Ошибки врача или особого физиологического состояния организма, не учитываемого пока даже с помощью нынешней медицинской аппаратуры? Или, может быть, от того, что оперировали в понедельник? Испытания новой космической техники допускают возможную смерть, атомные реакторы в случае ошибки — тоже, даже идеологи иногда требуют смерти, не говоря уж о религии.

Но чем можно уравновесить смерть? Разве наказание — уголовное, административное, партийное — уравновесит? И что вообще в мире способно уравновесить живого с мертвым?

Вошла секретарша и сказала, что семья... «той, которая умерла», требует главного врача.

### III

Назаров поднялся и попросил халат.

— Сюда их пригласить? — спросила секретарша.

— Нет, я пойду к ним.

— Лучше бы здесь, — сказала Галина Федоровна. — Все-таки обстановка.

— Да, обстановка, — холодно ответил Назаров, испытывая смутную неприязнь и к ней и к Замятину за то, что вот отчитываться приходится самому.

Но Замятина не пошлешь.

Лукаш тоже не подходила. Для нее авторитет института — прежде всего, ради чести мундира она способна нарушить пределы дозволенного.

«Врачебные заповеди — это догма, а к чему нам, марксистам, догмы? — вопрошала Галина Федоровна. — Пусть о них в романах пишут. Ах, как мудра клятва Гиппократы: «Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство», — передразнивала она кого-то.

Назаров клятву Гиппократы любил, как любил все исконно врачебное, медицинское: белый халат, красный крест, запахи медикаментов. И он сомневался в том, что перемены в некоторых московских клиниках — зеленые халаты — благотворно влияют на психику больных, дескать, не пугают их. Но и белые ведь не только пугают (детей, в основном), но и внушают доверие, надежду... Однако с Лукаш в таких случаях Назаров не спорил.

Он представил ее монолог перед родственниками: «Крепитесь! Мы вам очень сочувствуем, но поверьте, хирург сделал все возможное, все, что было в его силах и в силах нашей науки. Оперировал очень опытный хирург, спросите больных, они знают Замятина! Любой специалист скажет, что ошибка исключена! Смерть тяжела, но взвалить всю вину на врача — это значит убить его как специалиста. А ведь ему предстоит лечить еще десятки и сотни больных... — импровизировал Назаров и, хотя думал, что так скажет Галина Федоровна, на самом деле именно так оправдывался сам и если в чем-то был не совсем убедителен и не слишком умен — прощал — ведь не за себя думал. — К сожалению, — продолжала бы Галина Федоровна, — ни хирурги, ни больные еще не избавлены от такого страшного и коварного явления, как шок...»

«Иногда прикрикнешь — и больной сразу в тонусе, особенно не-

вропат», — говаривала Галина Федоровна. И покрикивала. И даже не иногда, а часто, и, как ни странно, действовало. — То ли от неожиданной агрессии, то ли от сознания того, что, мол, если на меня еще орут, то я не совсем пропал, врачу-то со стороны виднее, больные переставали киснуть. А Назаров терялся: права ли Галина Федоровна?..

А когда однажды не удержался, сделал замечание, Лукаш в оправдание своей психической атаки привела цитату из Толстого: «Я убежден, что в человека вложена бесконечная, не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество».

Далеко не каждый здоровый способен избавиться от подобного тормоза, не говоря уже о больных, но тем не менее слова эти производили впечатление, причем на больных даже в большей степени. Ибо кто кроме тебя и больше тебя самого пожелает своему хилому телу всемогущества? Одно остается: если хочешь быть здоровым — будь им!...

Сейчас Назаров решил пойти к родственникам сам. Не потому, что опасался бестактности Галины Федоровны, а потому, что они требовали главного врача, надо понимать — самого директора. В таких тяжелых беседах Назаров выглядел, на первый взгляд, беспринципным. Он полагал, что истина должна быть всегда на стороне несчастных и спасение тут в одном — принимай их сторону. Обвиняют — кайся, терпят — сочувствуй. И помни, что родственники в таком положении врачу не посочувствуют никогда.

Он вышел из кабинета не спеша, думая, что сказать, потом зашагал быстрее, чувствуя, что обворожительных слов все равно не найдет и надо хотя бы не струсить для начала. Почему-то возникал образ изможденной старой женщины — с ними-то самый трудный разговор, ибо ничему в такие минуты они не внемлют. Горе-горючее матери — пережить детей.

В приемном покое сидели трое — муж покойной и двое сыновей: одному лет пятнадцать, другому лет семь-восемь. Мужчина

держал между коленями светло-серую фуражку с крылышками. Летчик. Старший смотрел исподлобья сухими глазами. Он, наверное, конфликтовал с матерью — возраст переломный и, возможно, отсутствие ее теперь воспринимал пока еще как свободу. А младший горевал открыто, глаза распухшие от слез, нос красный, на лице детская незащищенность.

...Нет на свете мук сильнее муки слова,— гордо говорят поэты, Нет подходящей рифмы — мука. Ищут они слово, чтобы позабавить людей, удивить чем-нибудь, в лучшем случае — взволновать.

А здесь — смерть, несчастное лицо мальчонки.

Какие нужны муки, чтобы найти слово для утешения осиротелых! Вот сидят они втроем. Она была четвертой. Нет, она была другой их половиной, единственной их матерью, единственной их женщиной.

Как оправдаться? Как их утешить?

Не бери на себя много, Назаров,— не утетишь.

Он молча медленно сел рядом — четвертым, в таком же неожиданном горе, как и они. Трое смотрели, ждали, а он молчал.

Если бы они встретились после операции, точнее говоря, сразу после смерти — не избежать, пожалуй, крика, упреков. Но прошла ночь. Ночь после смерти близкого — пробный камень характера.

Мужчина был худощав и некрасив, с узко поставленными глазами и приплюснутым, как у льва, носом. На висках редкая седина.

Он молчал сейчас, на другой день после смерти жены, и как будто оставался спокоен. Почернелое, словно обуглившееся лицо выражало сдержанность, ему, наверное, хотелось сохранить достоинство перед теми, кто по злому случаю стал очевидцем последних дней, последних минут ее жизни.

«Вдовцы, хотя и долго чтят покойную, но тем не менее скоро женятся. Вдовы чаще остаются безутешными. У этого будет женская судьба, он больше никого не полюбит...»

Назаров вспомнил живую Трацевскую — стройную даже в больничном одеянии, длинноногую, с высокой шеей и красивым, несколько отчужденным лицом. Увидев в истории болезни «преподаватель

английского языка», Назаров спросил по-английски о самочувствии. Она сразу оживилась, глаза заблестели, небольничный язык отвлек ее в здоровый мир, и она ответила, что чувствует себя хорошо, поблагодарила и тут же заметила вслух, что у доктора американское произношение.

...Она учила своих детей английскому языку. Старший похож на мать, кареглазый и красивый, а младший — на отца. Шмыгает носом беспрестанно, плачет и плачет.

— Вас трое, да? — наконец спросил Назаров.

Никто не ответил, но, как показалось Назарову, мужчина слегка кивнул. Они еще не привыкли, что — трое, ведь всегда их было четверо.

— Почему так вышло? — спросил летчик и громко глотнул.

Три пары глаз смотрели на врача. И осуждали. Что бы он ни сказал — вранье! Возможно, знают они, кто такой Назаров, они смотрели б на него иначе. Но они не знали. Сидел перед ними просто главный врач больницы, куда нежданно-негаданно попала их мать и где распростилась с жизнью; сидел перед ними неизвестный смуглый казах лет пятидесяти, сильно, наверное, невезучий, ибо молчит и мрачен.

Когда плачут — тебе тяжело, но терпишь, зная, что им от слез легче: наступает эмоциональный разряд, такова уж природа человеческая — и слава богу. Когда кричат, срываются на оскорбления — тоже защищают свою психику от перенапряжения, дают выход гневу, возмещают убыток радости. Возмещают иногда с избытком, так что потом самим иногда становится стыдно.

Но эти молчали — она, наверное, так их воспитывала...

Молчат и смотрят. Чего они хотят? Чтобы он, врач, воскресил покойную? Нет, они просто хотят, чтобы врач объяснил причину. Серьезные мотивы — где они? Не помогут им сейчас никакие объяснения. Отец привел сыновей в надежде утолить горе каким-то, может быть, нечаянным отмщением виновнику. Но в чем заключается это отмщение, как выразить свой долг перед покойной, кричать или молчать — он не знал и, наверное, думал: а как бы поступила она, что бы она посоветовала?

А биопсия не обнаружила злокачественных клеток. Кого теперь этим порадуешь?

Что им сказать? Что она, Лидия Трацевская, была хорошей?

— Почти при всякой операции и почти при всех болезнях есть процент несчастных исходов,— с трудом выговорил Назаров.— Процент небольшой, один-два, чаще десятые или даже сотые доли процента... И врач верит, и больной верит, что эти десятые и сотые существуют в хирургии вообще. А его, конкретно,— обойдут... И в большинстве случаев — обходят...

Летчик опять громко глотнул. Он смотрел прямо в лицо Назарова, глаза его сузились, потемнели, а лицо с выражением затвердевшего терпения напоминало утреннее лицо Замятина. Не отводя взгляда, Назаров чувствовал, как у него самого непроизвольно суживаются глаза, от крыльев носа идут вниз складки, как удила.

Летчик смотрел и чуть кивал, будто находил в словах Назарова убедительность. Младший мальчик проплакался, личико его стало просветленным, он ожидал с любопытством, что дядя доктор вот-вот сделает волшебство, скажет какое-то слово из сказки... Но дядя доктор ничего такого не сказал и не сделал. И мальчик, наверное, не захочет больше читать волшебные сказки. Старший смотрел угрюмо, исподлобья, не верил врачу, но молчал, боясь отца и, видимо, сознавая, что отцу больнее, чем ему, сыну. И виднее.

Неожиданно сказав о процентах и не услышав возражений, Назаров и сам поверил в эти пустые слова и подумал, что ведь прямой врачебной вины нет. И не стоит слишком сурово казнить себя и без меры каяться. Надо тщательно вместе с патологоанатомами разобраться, в чем тут причина.

— Это горький урок для нас,— продолжал Назаров.— Мы обязательно во всем разберемся, пригласим лучших консультантов.

— Что теперь об этом говорить! — сказал летчик, поднялся, и сразу же поднялись сыновья.

Краткому смятению Назарова, пожалуй, пришел конец. Их горе только начиналось, затяжное, унылое. Отец будет уходить в полет, ребята оставаться дома. И никого, наверное, нет из близкой родни, чтобы ночью быть с мальчишками, иначе пришли бы сюда все.

— У вас есть кому с ребятами оставаться? — спросил Назаров.

— Ничего, — ответил летчик.

— Мы могли бы помочь.

— Ничего, — повторил он рассеянно.

У двери младший мальчик сказал:

— До свиданья, дядя.

Коридор был узким, Назаров шел последним и, вполне возможно, они даже не знали, что он провожает. Он постоял в дверях, глядя вслед, а они пошли не оглядываясь.

И Назарову вместе с непростительным облегчением захотелось заскулить от тоски.

Но чем ты сможешь им? Как тебе уравниваться с ними для гармонии? Забыть о других больных, плюнуть на институт, на онкологию и погрузиться в переживания до конца дней?

Иные грубят, начинают судиться, порой утрачивают меру настолько, что врач становится жертвой и юридической и моральной. Надо ли отвечать на профессиональную ошибку хулиганством, судом, сутяжничеством?

Резонерство, бесчувственные доводы механического ума! Умерла женщина, погибла, отравлена, — и чашу с ядом дали ей люди в белом халате, ввели смерть прямо в трахею, не потребовалось даже усилий, чтобы вдохнуть... Назаров передернул плечами.

#### IV

В три часа позвонил корреспондент Каримов и сказал, что статья об институте уже набрана и, как он выразился, поставлена в номер.

— Знаете, как называется? «Бреши в твердыне»! Я звоню, чтобы уточнить фамилии, — пояснил он.

Фамилии он уточнял, как связист, и когда начал: «Елена, Софья, Елена, Татьяна, Ольга...» — Назаров перебил:

— Вычеркните.

— Вы ее называли в прошлый раз, — напомнил Каримов.

— Возможно, по инерции. Сейчас — вычеркните.

— Что-нибудь принципиально новое? — заинтересовался корреспондент.

Статья, видимо, была уже настолько «поставлена» в номер, что вычеркивания создавали помеху.

— Принципиально ничего.— Назаров помолчал, раздумывая.— А вам обязательно нужно печатать этот, простите, поминальник?

— Желательно, конечно. Все-таки юбилей института, как же без знатных людей? Ведь не на одних морских свинках онкология движется, верно, Айдар Назарович?

— А не могли бы вы задержать статью?

— Товарищ директор института, все-таки у вас что-то произошло! — весело догадался корреспондент, приглашая своим тоном ничего не скрывать.

— У нас всегда что-нибудь происходит. Либо выздоровления, либо смерти.— Назаров говорил сухо и медленно.— Но дело не в этом. Мне хотелось воспользоваться случаем и через газету сказать, вернее, объявить, что институт начинает работать по-новому. В соответствии с требованиями современного научного процесса.

— Понимаете, в чем дело,— проникновенно заговорил Каримов.— Статья планируется именно в таком виде. Она юбилейного, так сказать, характера, одобрена на планерке, поставлена в номер. А я сегодня, кстати, дежурю в типографии, прослежу.

— Я думаю говорить не только о прошлом, но и о будущем— как раз в духе юбилейных статей.

— В духе-то в духе, вы правы,— так же бодро, не сдаваясь, отвечал Каримов.— Но лучше о том, о чем вы говорите, написать несколько позже и особо, понимаете, особо, чтобы больше акцентировать внимание.— Выходило так, что статью об институте он проталкивал прежде всего перед директором института. Голос Каримова звучал увлеченно.— Вы пока набросайте тезисы нововведений, а потом мы обстоятельно с вами обсудим, согласны?

Поняв, что брешь в твердыне не прошибить, Назаров молчал.

— А нам, поймите, нельзя затягивать с подобным материалом, ведь юбилей-то прошел,— втолковывал Каримов.— Да и не в ваших интересах задерживать. Если сейчас снимем из полосы, завтра-по-

слезавтра пойдут материалы пленума, и все отодвинется на энный срок, а то и дольше. Дорого яичко ко христову дню, согласны?

— Ясно, и у вас текучка,— отозвался Назаров.

— Что-что? Ах, да. Но таков ритм эпохи.— Он простодушно расмеялся, и Назаров догадался, что парень не так прост, как мог показаться при исполнении служебных обязанностей.

— Всего хорошего,— сказал Назаров и положил трубку.

Текучка в самом ее дурном смысле. Впрочем, не может быть хорошего смысла у текучки, она-то и есть твердыня, бумажная, но прочней бетона.

## ▼

В пятницу на общеинститутской конференции с отчетом по науке выступала заведующая отделением анестезиологии Марьям Есетова.

Утром Назаров опять встретил ее у входа. Лицо ее неприятно удивило Назарова. Не было в нем и тени прежней, как во вторник, озабоченности, горя, поставившего две морщины между бровями. Ясно, по институту поползли слухи, что-то явно преувеличенное — и вот у Есетовой уже надменное лицо несправедливо обиженной. Теперь не прошибешь ее никакими обвинениями и доводами — отскочат, как мяч от стенки.

Слухи само собой. И еще статья в газете «Бреши в твердыне», с перечнем институтских имен, с той самой обоймой, в которую имя Есетовой уже не вошло, как отстрелянная гильза. (Часто такая гильза вновь становится боевым патроном, кустарно начиненным самолюбием, тщеславием, подлостью,— отливается такая пуля, что ай да ну!).

Допустим, статья для Есетовой — пустяк, бумажный тигр, но — тут же сразу и отчет на конференции. И хотя он запланирован ученым советом два месяца тому назад, но Есетовой, да и другим, отчет именно сегодня может показаться умышленным развитием недавней истории, поводом для резкой критики вообще. Как теперь ни отчитывайся, а рыльце в пуху. И как теперь ни говори о проделан-

ной работе — все будет подвергнуто сомнению. Нередко подобные отчеты переносятся. Однако Есетовой не на руку перенос — могут подумать, что испугалась, это во-первых. Что еще и отчет не подготовлен, во-вторых. Следовательно, у нее целый букет недостатков.

Как бы то ни было, отчет отделения анестезиологии именно сегодня явно не к добру.

Но в общем-то — интересно!

Утреннее лицо Есетовой выдавало натуру, не привыкшую сдерживать свои чувства, мало того — не желающую привыкать.

Отчет, однако, получился довольно серьезным, в меру самокритичным и деловым — она его неплохо обдумала, говорила не только о проделанном, но и о существенных, общих и для других отделений, претензиях к дирекции.

Назаров видел, что Есетову плохо слушают, ждут конца. Но если обычно ждали конца, чтобы поскорее разойтись к неотложным больным, экспериментам, диссертациям, то сейчас наверняка ожидали самой сути, и многие, должно быть, недоумевали: к чему спектакль разыгрывать, ближе к делу бы!

— Есть вопросы к докладчику? — спросил Назаров.

Все молчали. Переглядывались и молчали.

— Нет вопросов, — сказал чей-то беспечный голос.

И опять молчание, тишина, даже не перешептываются — ждут.

— Объясните, пожалуйста, почему из вашего отделения за отчетный период ушли два хороших специалиста — Рацбаум и Тобояков? — быстро, но тоном спокойным, незадиристым проговорила Лукаш. — И почему подавали заявление об уходе медсестра Русанова и две санитарки?

Есетова не замедлила с ответом:

— Я выступала с отчетом по науке. А на ваш вопрос отвечу в другом месте.

По залу прошел легкий гул — где же в другом месте? Здесь присутствует высший орган власти в институте, сам ученый совет, куда входят директор с заместителями, секретарь партийного бюро, местный комитет и все заведующие отделениями; здесь присутствует коллектив, чей суд — самый правый.

Так где же это в другом месте?.. Прежде всего стало ясным, что Есетова не намерена отвечать на щекотливый вопрос в присутствии среднего и младшего медицинского персонала, желает объясниться только перед коллегами на высшем уровне. Видимо, уязвленная медсестра Ералиева, член партийного бюро, бросила, когда гул утих:

— Перед аллахом, что ли, в другом месте?

В сущности, все и без ответа знали, почему ушли Рацбаум и Тобояков. Но бывает такая ситуация, когда конфликт созрел уже настолько, что достаточно лишь вовремя задать вопрос. И отвечать на него — значит изворачиваться и усугублять свое и без того незавидное положение.

Не успела Есетова собраться с мыслями, как последовал другой, ясный и громкий вопрос:

— Ваша точка зрения: почему погибла больная на операционном столе?

Есетова с облегчением вздохнула.

— Я внимательно изучила этот вопрос и считаю, что причина смерти — адреналовый шок. У больной была гипофункция коры надпочечников. А вам должно быть известно, если кора надпочечников не будет способствовать выделению кортикостероидов во время операции, то появится адреналовый шок, или так называемый адреналовый шок.

Тут уж всяким Ералиевым не понять, сиди да помалкивай, не твоего ума дело!

— Может наступить отек легких — обильное выделение пенной жидкости из дыхательных путей, резкий цианоз, — продолжала Есетова уверенно, — падение насыщения артериальной крови кислородом.

Студенческим речитативом она перечислила симптомы из учебника.

— Знаем! Довольно! — слышались голоса.

— В данном случае никакого отека легких не было! — резко сказала Галина Федоровна. — И нечего наводить тень на ясный день!

— От меня требуют ответа по очень серьезному делу, накла-

дывающему вот именно тень на ясный день на все отделение анестезиологии. Повторяю: причина смерти — это адреналовый шок. Больные с адренкортикальной недостаточностью очень чувствительны к операции, к одномоментным кровопотерям во время операции.

Это в адрес Замятина! Сергей Сергеевич — ни слова.

— Кроме того, во время предоперационного периода, видимо, была в недостаточной степени проведена гормональная подготовка.

Это уже в адрес терапевтов. Но терапевт Дронова не промолчала.

— Больная получала внутримышечно кортизон, внутривенно пятипроцентный гидрокортизон, а также преднизолон, — пояснила она не без ноток сварливости и добавила решительно: — Дозировка наркоза — вот причина летального исхода. Вот об этом надо говорить, а не валить с больной головы на здоровую!

Назаров почувствовал, что конференция сползает к перебранке, а он, директор, сидит сторонним наблюдателем. Очень уж по-бабьи пошло препирательство, и Назарову захотелось одернуть одинаково что тех, что других.

Кстати, почему он малоактивен? Особой причины как будто и нет. Разве может стать причиной, допустим, то, что случилось в Москве десять лет назад?

Он остался почти безучастным потому, что у больного Пака обнаружено предперфоративное состояние. Операцию ему делать бессмысленно — ткани расползутся. Если прободение все же наступит, то смерть. Не от ножа, не от наркоза — от мегавольтной терапии крупными дозами по методу Назарова.

«Доктор, а у меня от этих лучей рак не появится?..» — спрашивал Пак. Вот что значит психопрофилактика на высоте — у него рак в последней стадии, неоперабельный. А больной живет в полном неведении.

Одним словом, не было причины у директора сказать что-то грубо решительное, вероятно, потому, что грубее и решительнее, чем сказали Ералиева, Лукаш и Дронова, не скажешь. И Назаров понимал, что после этой перебранки у Есетовой появились сочувствующие.

Вот тебе сразу по проблеме Капицы два вопроса в едином целом: моральный и кадровый.

Кадры в общем-то ничего, но не мешало бы иметь лучше. Досадно иногда Назарову — плохи кадры! Но негде пока взять лучших.

Далеки некоторые от подлинной науки, не для нее рождены. Причиной тому, разумеется, и отсутствие таланта, и воспитание, и семья, и многое другое... Хорошо, когда с детских лет усваиваются, пусть бессознательно, представления о науке, как о чем-то туманном, пока загадочном, но потом дающем человеку интеллигентный склад ума, запросы, привычки, подвижность психики и восприимчивость к новому органическую, а не директивную.

Плохи кадры, но директор бессилён заменить их. Бывает, за версту виден бездарный сотрудник, нет в нем ни искры божией, ни желания, — но приходит на работу тютелька в тютельку, как приказано, уходит по расписанию, не пьет, иной даже не курит, чем усугубляет тоску директора (ведь проработает до-олго), не скандалит, план по науке выполняет, эксперимент у него по графику, в методике аккуратен. Но все это служба науке, а не сама наука. Служба, а не служение. Однако попробуй тронь такого, как тут же КЗОТ могуче, непреодолимо, поистине как ДОТ, станет на его защиту. Хорошо у писателей, у композиторов. Написал бездарную книгу или оперу — ее не приняли. И никакой кодекс законов, никакие судебные или иные тяжбы не встают на защиту графомана, никто ему не платит жалованья. А вот «ученому» КЗОТ подмога. Откроет кодекс — это будет его открытие; изучит — это будет его эрудиция. А возбудителя рака пусть поищут другие. Только вот директору кодекс законов о труде не поможет ни выгнать бесполезного, ни удержать толкового, нужного. Ушли, к примеру, Рацбаум и Тобояков — и никаким КЗОТом их не удержишь. И что теперь проку корить Есетову? А уход этих двух — упрек Назарову. Они не поверили, что директор в силах изменить создавшуюся обстановку, и сочли самым правильным — уйти. Рацбаум умница, она поняла, что двум головам в одной чалме не бывать, но так как Есетовой уходить некуда, а ей, Рацбаум, можно выбрать любую клинику, то, естественно, накал в борьбе будет неодинаков. И Рацбаум ушла.

У Тобоякова причины иные — просто не ужился по мелочам, стал нервничать и решил, что жизнь коротка, и тратить ее на то, чтобы срabатываться черт-те с кем, значит не ценить свои лучшие годы. Тем более, что Есетова смысл своей жизни уже определила, а ему, Тобоякову, это еще предстояло сделать.

Нетрудно догадаться, что они, уходя, думали о директоре. На что сей муж способен? Что он переменит в Есетовой? Прочитает, допустим, ей нотацию, иначе говоря, загонит беса внутрь. Но сдерживаемая буря всегда разрушительнее. И они ушли молча, великодушно удовлетворившись по адресу директора легким презрением...

Вот такой комплекс, морально-кадровый, если разобраться. А разобравшись, можно всех понять и все понять. А все понять — значит все простить.

А если все понять — и ничего не простить?

Закрывая конференцию, Назаров признал справедливыми претензии к дирекции, объяснил, почему в настоящее время нельзя выполнить то-то и то-то. И сказал:

— Очень низка культура вашего отчета и вашего поведения, товарищ Есетова. Надо иметь элементарное мужество признавать свои ошибки или хотя бы разделять их с другими. Невысока также культура многих вопросов, товарищи, и заявлений.

До конца дня Назаров чувствовал себя усталым и раздраженным...

## VI

На следующий день всему, что произошло в институте — и смерти Трацевской, и «женской» конференции, и тяжелому состоянию Пака, Назаров дал свое определение — текучка! Однако слова «жить по-новому» вызвали в нем смутное желание усмехнуться не то горько, не то надменно.

Итак, для повышения коэффициента полезного действия наших ученых необходимо продумать и проверить практически, как у нас выглядят, как проводятся в жизнь три основных фактора: моральный, финансовый и кадровый. Из них первый наиболее важен; то

есть, попросту говоря, любишь ли ты, ученый, свою работу, считаешь ли выбор темы важным для науки, а избранную методику плодотворной.

Набрасывая заметки по работе каждого отделения, Назаров покосился на высокую стопу утренней почты — специальные журналы, газеты, тома диссертаций, куцые брошюры авторефератов, которые приходили почти со всех концов страны для внешних рецензий. Только по названиям городов, откуда авторефераты присылались, статистики могли бы судить о бурном развитии онкологии. С каждым месяцем число ученых-онкологов все увеличивалось. Верно сказано: легче открыть причину рака, чем учесть все научные работы по изучению самой причины.

Назаров еще раз покосился на стопу почты. Сверху лежал тощий, неслужебного вида конверт с рисунком: одноногий аист стоит в круглом широком гнезде, похожем на веночек. Вероятно, благодарность кого-то из больных.

Пожалуй, нет, больные, как правило, пишут от руки и не забывают указать свой адрес. Здесь же обратного адреса не значилось, а куда и кому: «Директору, доктору наук, профессору Назарову» — было отпечатано на машинке.

Почта всегда вызывала у Назарова двойственное желание: узнать новости немедля и — отложить на свободный час, чтобы получить удовольствие, когда тебе не мешают.

Конверт без адреса показался Назарову и любопытным и подозрительным.

Вот что ему принес аист.

«Я отношусь к Вам с большим уважением, поэтому не могу не сказать о том огорчении, которое Вы доставляете истинным своим почитателям. Я хочу предостеречь Вас от поступков, которые порочат Ваше имя. В последнее время Вы ведете себя непростительно: Вы злостно преследуете дочь казахского народа. Почему? По чьему наущению так поступаете? Разве этого от Вас требуют партия и правительство? Нет, мы знаем, что партия ратует за воспитание национальных кадров. Вы преследуете национальные кадры по другой причине. Вы являетесь перерожденцем, а психология перерожденца

такова, что он не может дышать воздухом, если не будет преследовать и притеснять тех, к кому раньше принадлежал!

Не думайте, что люди забыли или совсем не знают, что Вы недостойный человек в моральном отношении. В 1957 году Вы приставали к Есетовой в Москве, пытались ее соблазнить, но молодая красивая женщина вела себя с достоинством. Не за это ли Вы ей мстите теперь, спустя десять лет?

Когда-то уважающий Вас, а теперь презирающий».

Когда Назаров дочитал это недлинное послание, он почувствовал, что дышит тяжело и часто. Написано явно кем-то из своих сотрудников! «Ах ты, мелкая сволочь», — пробормотал Назаров, огорченный как ребенок. К подобным вещам нужна привычка, без привычки, прямо скажем, ошеломляет. Раньше он только слышал про анонимки и знал, что многим они не дают житья, что руководители в некоторых коллективах к этим грязным подметным письмам вынуждены привыкать, как аульные псы к блохам — они тебя грызут, а ты почухайся-почухайся, но службу все равно неси.

Так и ты, Назаров, почухайся, а службу неси — тебя ждет обход, клинический разбор больных, разговор с цитологами и физиологами по радиорезистентности...

За пять лет не было ничего подобного в институте! Тем более досадно, уж лучше бы писали с первых дней, как-то естественней. Не слишком-то приятно ходить по институту, говорить, советовать, давать указания — и чувствовать на себе пристальный и злобный глаз все переиначивающего соглядатая.

Назаров еще раз перечитал «предупреждение» и подумал, что автор поднаторелый, ему не впервой писать подобное. Он кто-то из друзей Есетовой.

Из тех, кто создавал институт вместе с Назаровым, никто так не напишет. «Старички» не напишут. А молодые?

Он представил окружение Есетовой. Ну, к примеру, вот этот. В отделение анестезиологии поступил недавно, кажется, в марте. Или в апреле. А институт окончил прошлым летом. Значит, до онкологии где-то успел поработать. Молодой, подающий надежды... А может быть, и не он.

Вот такие дела, доктор Назаров. Дадут тебе по одной скуле— подставь другую. Играют с тобой «в темную». Анонимка — это абстрактный плевок в совершенно конкретную физиономию. И ничего— утрись и терпи до следующего раза.

Не обращать внимания! Не обращать внимания, не обращать... Но сколько ни говори «халва, халва», во рту сладко не станет.

Он позвонил Лукаш, ее в кабинете не оказалось. Назаров попросил секретаршу отнести ей «вот это» и передать лично в руки. Реакцию Лукаш Назаров, примерно, знал и надеялся, что она и автора определит — у женщин информация всегда больше, особенно у таких «моторных», как Галина Федоровна.

Он надеялся еще и на то, что Лукаш разделит огорчение и гнев самого Назарова, авось легче станет.

Через полчаса Лукаш зашла к Назарову в радиологическое подземелье, в профессорский кабинет. Глаза Галины Федоровны сверкали, она воинственно жестикулировала.

— Надо принимать меры, Айдар Назарович! Не должны мы повторствовать таким штучкам. Скоро прокламации начнут на стенках вывешивать!

Она говорила быстро, горячо, и Назарову действительно стало легче — разделила-таки огорчение. Даже с лихвой, пожалуй, пришлось успокаивать — остыньте, дорогая Галина Федоровна, вы не привыкли, и я не привык, подумаем, утро вечера мудренее.

— Для нас это — острое начало, Галина Федоровна, сразу лихорадочное состояние. А другие на такие штучки не обращают внимания, как аульные псы на блох.

— Но у хорошего хозяина, Айдар Назарович, псы от блох избавлены, хороший хозяин жалеет своих псов,— охотно продолжила Лукаш не слишком изящное сравнение Назарова.

— Так-то оно так,— согласился Назаров.— Предупреждение касается прежде всего лично меня! А кто мой хозяин?

— В таком случае, я буду вашим хозяином, согласны? — сказала Лукаш весело, не без корысти, ибо Назаров знал: дай ей только волю, благослови, так она наверняка устроит здесь лабораторию криминалистики.

— Как это будет выглядеть практически? — серьезно спросил Назаров.

— Я как следует поговорю с Есетовой. Напомню, что ее ждет скамья подсудимых за Трацевскую.

— Так, так... А нас с вами что ждет?

— Понимаю — пятно на институте. Но думаю, что самым верным было бы все-таки освободить ее от работы.

— Галина Федоровна, зачем вам брать мою ответственность на себя? Не надо, Галина Федоровна, лезть поперед батьки в пекло.

— Хорошо, а как быть с анонимщиком? Неужели мы так и не узнаем...

— А я знаю, — перебил Назаров.

Пожалуй, он переигрывал в спокойствие и безразличие. Лукаш после такого признания выразительно пожала плечами, посмотрела на директора с прямой неприязнью и едва удержалась от известного жеста — покрутить пальцем у виска.

Она сердито смолкла. Для чего же он передал ей это гнусное сочинение? Чтобы показать, насколько он великодушен и всепрощающ, хоть удуши еще пятерых Трацевских с помощью последних достижений медицинской науки и техники?

— Вы действительно знаете автора или, простите меня, делаете вид?

— Действительно знаю, Галина Федоровна, и прошу вас не нервничать. Я дал вам прочесть для сведения, думаю, что знать вам об этом письме не повредит. — Он умышленно избегал слова «анонимка» и называл это послание то предостережением, то письмом, придавая смысл более серьезный, чем могло захотеться Лукаш. — Ведь бывает так: самочувствие больного отличное, он ни на что не жалуется, здоров, а тут приносят бумажку, и глядь — а у него РОЭ девяносто!

— Вы хотите сказать, в институте не ведется идеологического воспитания?

— Ведется, Галина Федоровна, ведется! — Он не мог сдержаться раздражения. — С вами стало трудно говорить, всему вы придаете двойной смысл. Прочли, приняли к сведению — и пока все. А что

будем делать, покажет завтра, утро вечера мудренее. О письме прошу никому не говорить...

К концу дня Назаров пригласил Замятина, поинтересовался, как у него дела, поддержал настроение и вдруг спросил: так что же все-таки делать с Есетовой?

— Надо уступить,— ни с того ни с сего решил Замятин, как будто Есетова чего-то требовала.

«Я уж и так уступил»,— отметил про себя Назаров и спросил:

— Ради чего?

— Ради науки, ради института, а проще говоря, ради личного спокойствия.

— Но больная-то погибла!

— Ты ее не воскресишь. А институт живет, и ради этого надо идти на уступки. Так что ты ведешь себя правильно, Айдар.

Похвалил, ничего не скажешь! Значит, не наказывая виновную, ты ведешь себя правильно? Неужели именно так выглядит позиция директора со стороны?

— Ты имеешь в виду ее родственника, вице-президента Академии?

— Не только. Воспитание кадров — постоянная забота руководителя.— Замятин усмехнулся.

— Мы должны подбирать кадры по деловым, научным, творческим признакам прежде всего. А не по каким-то иным.

— Мы должны помнить, что курить вредно. Но в день рождения дарим портсигар — так принято!

Назаров хмуро, долго молчал.

— Не злись на меня, Айдар. Но совет мой прими — уступи. Потерпи. Вяжешься — начнутся жалобы, склока, комиссии, анонимки, все это вышибет тебя из колеи. Вяжешься — начнется цепная реакция, закружит тебя центробежная сила, и уж если вылетишь, то далеко от места, где хотелось бы приземлиться. Посмотри, как за два года свело Сараева — поседел, сгорбился, уже с микроинфарктом лежал...

Сараев был директором института краевой патологии, хорошим перспективным ученым.

— А думаешь — отчего? Уклонился от темы. Ему надо возбудителя лихорадки «ку» искать, а он, видите ли, начал искать справедливость. Не по профилю института.

«Злой ты черт, злой...»

— Ты меня дразнишь, что ли? — возмутился Назаров. — Нарочно злишь?

— Лучше позлиться день, чем потом злиться год.

— Может быть, сам боишься ответственности? — не сдержался Назаров. — Ведь и ты здесь не сбоку-припеку!

— Ты просил совета — я тебе отвечаю! — тоже рассердился Замятин. — Я не сбоку-припеку, можешь винить меня, как хочешь. Оправдываться мне некогда — больные ждут. А Есетова не позволит себя тронуть, и время у нее есть. И ты потратишь на борьбу с ней, повторяю, не один день.

— Значит...

— Да, значит надо думать, что нервы, тебе еще пригодятся Назарову хотелось иного — не истины, которая рождается в споре, просто-напросто поддержки Замятина. А он уклонялся.

— Что ты об Алиханове знаешь? — спросил Назаров сухо.

— Анестезиологе?

— Да.

— Замятин подумал.

— Способный. Довольно грамотный. Неконтактный, замкнутый, с таким оперировать трудно. Поведение — пять, прилежание — на двоечку.

— И все?

— Пожалуй. А разве мало?

Назаров начал собирать в стопку разбросанные по столу журналы. Замятин поднялся и сказал: «Пока, будь здоров».

Наведя на столе порядок в пределах возможного, Назаров прошелся по кабинету, постоял в углу перед аквариумом, посмотрел на рыбок. Они не успокаивали.

Назаров пригласил секретаршу. Спросил, давно ли, с какого месяца у нас работает Алиханов.

— С апреля, — ответила секретарша.

- Институт в прошлом году закончил?  
— Да. Диплом с отличием.  
— И с августа до апреля болтался?  
— Нет, работал в институте хирургии. Младшим научным сотрудником.  
— Недолго, однако... Как это называется — летчик?  
— Вы хотите сказать: летун? — улыбнулась секретарша.  
«Ах, да, верно же, летун. И придумают же: летчик, летун; всякому делу свое слово...»  
— Пригласите его, пожалуйста, ко мне.

## VII

Секретарша вышла, и Назаров подумал: «На каком же основании я так уверенно его заподозрил, как будто за руку поймал?»

Да, на каком? Слово у него не шестьсот сорок сотрудников, а трое-четверо, и он досконально знает их склонности, образ мыслей, изучил манеру выражений и упреков.

Ладно, пощади себя, Назаров, возьми не шестьсот сорок, а всего лишь двадцать два, штат отделения анестезиологии. Далее, не забудь предположить, что ведь мог написать кто-то из другого отделения.

Почему не посоветовался с Лукаш? Самонадеянный мальчишка: все знаю, всех знаю, я — директор, я — отец родной для института, как же мне своих сыновей-дочерей не знать?! С непривычки погорячился.

Эх, дубина ты, Назаров, дубина. Могли ведь и со стороны написать. Ничего сугубо институтского в письме нет.

А может быть, это муж Есетовой написал? Она сказала ему насчет «приставаний» тогда, в Москве, он взъярился и накатал. Муж работает в Академии наук. Там же какой-то двоюродный или троюродный дядя Есетовой — вице-президент.

«Глупо, что я пригласил Алиханова...» Впрочем, глупость эта простительна. Если ты в свои пятьдесят лет в острой ситуации ведешь себя как ребенок, то это ведь вполне естественно — в этом

направлении ты делаешь свой первый шаг. И если не так шагнешь, то ощутишь и твердость препятствия, и необходимость как-то реагировать.

Он посмотрел на часы с надеждой — пятнадцать минут четвертого. Возможно, Алиханов уже ушел. Иногда нарушение трудовой дисциплины оказывается полезным.

Но Алиханов уже входил в кабинет — высокий, тонкий и вполне, можно сказать, красивый молодой человек.

— Здравствуйте, — сказал он. — Вы меня вызывали?

— Саламатсыз, — ответил Назаров. — Отырыңыз<sup>1</sup>.

— Спасибо, — ответил Алиханов и, чуть повернув стул возле маленького столика, стоящего перед большим столом Назарова, сел вполоборота к директору.

Назаров представил себя таким Шах-Аббасом, коварным восточным правителем — это ощущение показалось ему занятным.

Назаров спросил по-казахски, доволен ли тот работой именно в этом отделении, и Алиханов опять ответил по-русски, что да, вполне доволен. Затем Назаров опять же по-казахски высказал предположение, что молодой коллега, вероятно, не знает родного языка. Алиханов помрачнел, чуть поерзал на стуле, посмотрел на свои руки.

— Я все понимаю, — ответил он наконец. — Но не говорю.

Назаров усмехнулся — ответ прозвучал весьма двусмысленно. Похоже, что и Алиханова манили лавры Шах-Аббаса. Нет, не похоже. Назаров вспомнил письмо и помрачнел. Есть характерные черты у некоторых его молодых соплеменников: в совершенстве владеть русским языком, учиться только в русской школе, рваться в московский вуз, играть на скрипке и фортепьяно, жить в квартире с газом, горячей водой и ванной. И громче всех ратовать за прадедовские обычаи.

— Над чем вы сейчас конкретно работаете, над какой темой? — спросил Назаров.

— Потенциальный эндотрахеальный наркоз при онкогинекологических операциях.

---

<sup>1</sup> Приветствую вас... Садитесь. (Каз.)

Это был наркоз, который давали Трацевской.

— Есть мнение, что Есетова виновна. А как вы думаете?

Алиханов медленным движением поправил волосы, положил руки на стол, раздумывая, не желая соглашаться и не зная пока, следует ли возражать.

— Смогли бы вы ее защитить? — продолжал Назаров тоном более доверительным.

— Я не знаю, нуждается ли Марьям Омаровна в защите, она меня об этом не просила, — спокойно проговорил Алиханов. — Да и нет сколько-нибудь научно или патологоанатомически обоснованных претензий. Если хотите, я могу взять этот случай в чистом виде, теоретически. Это как раз моя тема. Я недавно сдал в общеинститутский сборник свое предварительное сообщение.

Уйдя от прямого ответа, Алиханов освоился и продолжал:

— Я могу рассказать, что бывает в таких случаях по данным соответствующей литературы. Облегченный или анальгезический наркоз применяется совсем недавно, с пятидесятих годов двадцатого века. Наркоз в стадии анальгезии стал возможен после того, как появились мышечные релаксанты. Ну, понимаете, для расслабления напряжения мышц.

Он наверняка считал, что радиолог Назаров может не знать основ анестезиологии. Назаров не раз убеждался в том, что электрокардиологов, радиологов, рентгенологов основная врачебная масса склонна считать больше физиками, техниками, представителями чуть ли не оккультных наук и меньше всего медицины. И заблуждение это, как всегда, от невежества. Иной коллега склонен думать, что радиолог столько же смыслит в практической медицине, сколько гинеколог в ядерной физике.

— Ясно, ясно, — сказал Назаров с легким раздражением. — Релаксация, к вашему сведению, не только мышечное расслабление. Это вообще уменьшение напряжения. И в технике и в строительстве. Ближе к делу.

— В данном случае в качестве мышечного релаксанта применялся двухпроцентный раствор тиопентала натрия. Затем эндотрахеальный эфир. При таком наркозе зрачковый рефлекс сохраняется,

больная реагирует на вопросы анестезиолога поднятием век, движением глазных яблок и мимических мышц...— Алиханов помолчал, видимо, подбирая слова, чтобы не проговориться.— Такая методика, само проведение наркоза в стадии анальгезии требует большой осторожности. Иногда незначительное уменьшение наркотического вещества приводит к тому, что операция продолжается, в сущности, без обезболивания... Потому что мышечные релаксанты расслабили мускулатуру, и больная не может реагировать ни голосом, ни мимикой на болевые ощущения.

Так пришлось Назарову, почти случайно, выслушать и другую сторону, уже не обвинения, а защиты.

— Вы полагаете, что в данном случае механизм именно таков?

— Не могу утверждать. Марьям Омаровна считает, что у больной была аденокортикальная недостаточность, а это значительно меняет картину. Кроме того, больная оперировалась в положении Транделенбурга — головной конец операционного стола был опущен на пятнадцать градусов. А это одно из самых тяжелых положений при операции. Изменяются гемодинамика и дыхание. Опасно повышается венозное давление...

Назаров коснулся ладонью лба, медленно провел по волосам, подпер щеку. Все это верно, грамотно и вполне логично связано. И все это — лишь стороной, по касательной к делу Есетовой, к анонимке. Алиханов ничем не подтвердил подозрений. Хотя он явно волновался, сидел напряженно, но это могло быть от неприязни к директору, как к любому слишком ретивому администратору. Растерянность Алиханова постепенно прошла, он освоился, и теперь ясно, что о релаксантах и анальгезии он способен говорить хоть до утра.

«Ну и что, если именно он писал, что?!» — вдруг тихо озлился на себя Назаров. Он стиснул зубы. Глупо все это, мелко и гадко. Если бы Алиханов подписал анонимку, что бы ты сделал, Назаров? Уволил бы его? Лишил диплома? Ведь нет же! Так зачем дурака валять? Ах, ты обиделся... Каким был в пять лет, таким остался и в пятьдесят — неплохо сохранился.

Нет, никогда не станет он больше копать в таких вещах,—

это безнравственно вообще, а для него — мука. Исследователь — не следователь».

Он отпустил Алиханова с миром.

### VIII

Обычно заместитель министра Редун приглашал Назарова сам, звонил по телефону. Сегодня он почему-то пригласил через секретаря. И как только секретарь передала, что надо явиться к Редуну в двенадцать, у Назарова возникло ощущение, какое, вероятно, бывает у жертвенного барана: раз уж надо — подставляй башку под топор, боги жаждут.

В двенадцать у Назарова, как и вчера, клинический разбор больных. Надо позвонить, сказать, что не может прийти в двенадцать. Что настроил против текучки себя и весь коллектив и не станет подавать дурной пример.

Впрочем, лучше не дразнить Редуна.

Помог ли этот самый Редун кому-нибудь в важном деле? Об этом надо долго вспоминать. Мешал ли кому-нибудь? Да, пожалуй, всем, кто проявлял инициативу. Грубо говоря: помогал, кому не хватало, мешал, у кого избыток. Инициатива, как известно, деятельность, не предвосхищенная министерской инструкцией. А так как инструкций много и времени на их выполнение не хватает (не говоря о желании), то, естественно, министерству не по душе всякие самостоятельные инициаторы. А неприязнь к себе руководство понимает так: мы требуем, а им не хочется выполнять. В то время как прошлое выполнение приказов позволяет регулировать будущее поведение. В этом — принцип обратной связи по Норберту Винеру, теоретику «науки управлять», которую чтит Назаров-директор и в которой позволяет себе усомниться Назаров-подчиненный. Но такова уж природа современного работника — сочетать в себе противоположности.

...Редун встретил его неприветливо, профессионально настроенный на разгон. Впрочем, а встречал ли он Назарова приветливо? Вначале, когда Редун только пришел на пост зама из Джамбулского

облздравотдела, он был еще разгонистей, чтобы новичка не приняли за слабака.

Уже не по «науке управлять», а эмпирически Назаров заметил, что новое начальство иногда позволяет себе гораздо больше старого. Поначалу многое сходит с рук, ибо новичок является после изнурительной кампании по снятию старичка, когда все инстанции доведены до изнеможения; и если вместо ангела сядет черт и на него справедливо пожалуются, никто и бровью не поведет — сил нет.

Редун обычно строжился, грубил, устраивал разносы, а потом улыбался — вот я какой, и на доброе способен. Гляньте и прочувствуйте! Впредь я могу улыбаться, а вы будете знать: он ведь не только улыбается!

Примитивная методика, но у Редуна она, видимо, оправдывала себя на всей его служебной лестнице.

Назаров растил в себе неприязнь, смутно чувствуя какой-то подвох, а если уж говорить по правде, не чувствовал, а знал, что на верняка «стукнули» насчет Трацевской. Как будто без вмешательства министерства сами они не в состоянии разобраться!..

Но с кого, как не с директора, прежде всего спрос? Не с Есевой же.

— Как там у вас больной Пак, умрет? — хмуро спросил Редун.

— Умрет. Так же, как я, так же, как и вы.

— Это называется юмор висельника, — определил Редун.

Назаров промолчал.

— А на коллегию надо приходиться, уважаемый Айдар Назарович, — пожурил замминистра. — Мы там не всегда пустяками занимаемся, изредка и деловые вопросы решаем. А вы не являетесь.

Назаров промолчал, и Редун, видимо, поняв, что тон беседы следует сменить, заговорил мягче.

— Хочу предупредить, что разговор будет не из приятных, уважаемый Айдар Назарович.

— Я этого ожидал.

— Минуточку, не перебивайте... — Редун выразительно помолчал, одновременно желая нагнести в Назарове робость, а в себе

уверенность.— Вы забрали больного Пака из больницы Совета министров.

— Не забрали! — нетерпеливо возразил Назаров.— Он сам попросился. Настойчиво просил. И у нас изъявил желание лечиться по нашей методике.

— Крупными дозами? — спросил Редун.

— Да. По методике крупного фракционирования дозы.

— Наберитесь терпения и выслушайте меня до конца. Рентгеновские лучи сделали свое благородное дело и отошли на второй план. Так? Так. Почему? Потому что у них малая проникающая способность в глубь тканей и органов, а когда дозу увеличиваешь, то поражаются кожа и здоровые ткани, которые окружают опухоль. Так?

— Так,— согласился Назаров и из чувства голого противоречия добавил: — Примерно.

— Не примерно, а точно. Успехи ядерной физики позволили применять в медицине электромагнитные волновые колебания и заряженные элементарные частицы. Появились соответствующие аппараты — линейные ускорители, бетатрон, синхротрон, синхроциклотрон. С помощью этих аппаратов используется энергия свыше миллиона электроновольт. Так появилась мегавольтная лучевая терапия. При ней кожная поверхность не поражается, потому что максимум дозы наблюдается именно в глубине ткани, а не на поверхности, так?

Назаров пожал плечами и вздохнул. Пожалуй, ясно стало, к чему вел разговор Редун: показать свою осведомленность, чтобы с тем большим правом потребовать чего-то наперекор Назарову. Показать осведомленность и тем самым подкрепить претензии.

— Хорошая вещь мегавольтная терапия. Хорошие лучи, полезные,— продолжал Редун,— но, как говорят в народе, хорошего по-маленьку. Существует распределение дозы во времени — фракционирование, шесть-семь тысяч рад в течение шести-восьми недель—и не мы с вами эту дозу устанавливали. Вы же увеличиваете очаговую дозу до одиннадцати тысяч.

— Вы так со мной говорите, будто наша методика не утверждалась ни коллегией, ни ученым советом министерства, ни головным институтом в Москве,— возмутился Назаров.

— Так-то оно так. Но если рискованный эксперимент дает печальные результаты, то ведь первым этот печальный факт определит не головной институт. Определим мы, непосредственные ваши руководители. И потом я не встречал в литературе такого крупного суммирования очаговой дозы. А вот, к примеру, в Киеве... там более серьезные вещи делают. В Киевском институте фармакологии и токсикологии синтезировали новый препарат бензотэф, и уже вылечили около трехсот больных. Вот это результат. Всей стране известна работа украинцев.

— Если бы Министерство здравоохранения Украины их не поддерживало, то про бензотэф и вы ничего бы не знали.

— Доброе дело почему бы не поддержать.

Редун был в своем нормальном рабочем состоянии, а Назарову казалось, что он его нарочно изводит.

— Вы можете сказать короче о своем предложении Институту онкологии и радиологии? — Прежде Редун не вызывал в нем такого раздражения, как сейчас. С доктором наук, с членкором говорит как с мальчишкой-приготовишкой, втолковывает ему новости, известные каждому фельдшеру.

— Нам кажется...— Редун помолчал, посмотрел на Назарова. «Нам!.. Не мне, разумеется, а нам!»

— ...что вы должны прекратить лечение по своей методике. Не волнуйтесь. Не окончательно, а до поры до времени. Но что касается Пака, то прекратите немедленно.

— Радиологическое лечение Паку уже отменено. У вас плохие осведомители.

— Да вы не сердитесь, не сердитесь, с вами просто невозможно говорить,— журиющим баритоном протянул Редун.— Ну что я вам такого сказал? Как старший товарищ по работе я вынужден вас кое от чего предостеречь. У нас больше всяких сигналов, сами понимаете, нам жалуются больные, родственники, друзья — куда денешься? Такова у нас с вами доля врачебная. Вы можете об этих жалобах

не знать, но мы-то обязаны быть в курсе! И стараемся. И кое что знаем.

Назаров сознавал, что замминистра сейчас намеками, недомолвками даст понять, что вольностей Назарову не позволят, когда надо — на хвост наступят, так что все это он пусть учтет. А так как Редун пока, кроме «мы считаем...», ничего решительного не сказал, то следовало его намек воспринять еще и как сигнал бедствия — дескать, учти, не все благополучно в твоём королевстве: если грянет гром, не думай, что он среди ясного неба — тучки были.

— Я посоветуюсь с сотрудниками насчет вашего предупреждения, — сухо сказал Назаров, уже наверняка зная, что разговор этот прицельный — этаким артиллерийский: сначала перелет, затем недолет, а потом уже и по существу — бац!

## IX

— Вчера я вас не застала, Айдар Назарович, и решила действовать сама, — сказала на другое утро Лукаш. — Прошу не волноваться, действия мои ограничивались только функциями политрука. Прощаете? Иначе ничего не расскажу.

— Не только прощаю, Галина Федоровна, но и благословляю действовать от моего имени. Если поможет.

Назаров признался, что устал от этих наипротивнейших дней, каких, кажется, за пять лет институтской жизни еще не было.

— Прошу вас, Галина Федоровна, сказать, что я упустил и что должен сделать.

— Иногда крутые меры — самое гуманное средство, — осторожно заметила Лукаш.

Узнав, что директора «потянули» в министерство неспроста, Лукаш рассказала о своих вчерашних визитах. Прежде всего, зашла в райком партии к Константиновской, ведающей научными кадрами. Она биолог по образованию, толковая женщина, в курсе всех дел, Константиновская сумела отделить вранье от правды в тех сигналах, которые поступили в райком в эти дни. «Раньше мы были рады за

вас,— говорила Константиновская,— потому что склока не поражала институт онкологии, как будто там у вас иммунитет...»

— Интересная женщина. Лицемеры, говорит, бывают житейские и бывают политические. Житейские прикидываются голубями. А лицемеры политические — орлами!

«Очень хорошо замечено,— подумал Назаров.— Для работника райкома — вдвойне хорошо».

— Константиновская мне прямо сказала: райком станет на вашу защиту! И дала понять, что защищать придется, так как нападение будет. Из райкома я — прямо в министерство. Там у нас, слава богу, друзья есть. Подали несколько новых симптомов, таких, что я из министерства прямым ходом в Центральный Комитет и говорю: секретарь партийного бюро института онкологии требует приема у секретаря по науке. Пожалуйста, говорят, в понедельник. Сейчас нельзя? Нет. Повернулась, чтобы уйти, и тут слышу: а ваш сотрудник только вчера побывал на приеме у секретаря ЦК. Кто, спрашиваю. Есетова! Представляете? Мне, секретарю партийного бюро, надо ждать до понедельника! А Есетовой — зеленую улицу. Выдала я этим инструкторам на полную катушку. Тут же привела им притянутую за уши историю насчет лицемеров и говорю: так это вы поддерживаете их орлиный полет?!

— А короче? — сказал Назаров.

— Короче? — Галина Федоровна поперхнулась, она ожидала другой реакции, во всяком случае, не раздражения директора, думала, наоборот — похвалит... И сама озлилась:

— А короче — у нас будет на днях комиссия!

Назаров спросил: какая, что она будет искать?

— Нарушения по науке, по клинике, финансовые злоупотребления... Ну и насчет личной жизни директора.

Последние звенья цепочки стали ему ясны: поговорил с Алихановым, тот к Есетовой, та в ЦК. «Завертелось, закружилось и помчалось кувырком...». «Личная жизнь». Легко сказать «личная», когда ею живут шестьсот сорок сотрудников института, райком, минздрав, соответствующий отдел ЦК, а теперь заживут еще и члены компетентной комиссии!

Худые вести не лежат на месте. Во время утреннего обхода Назаров видел, что и врачи и, как ему казалось, больные узнали что-то, но раз уж директор, профессор, не подает виду, то и они скрывают. Но на некоторых лицах он замечал озабоченность, предчувствовал их неверие в благополучный исход. В конечном счете рак если и будет побежден, то не ими, конкретными учеными, и не для этих конкретных больных. Ощущение безнадежности, пусть преувеличенное, пусть мнимое, но передавалось и профессору, вызывало гнев. Хотелось спросить, что они знают такое особенное, почему приуныли? Но стыдно ведь распространяться о мелочах, хотя они и сидят в тебе, как занозы.

Старая истина — чем больше принципиальности, тем больше врагов. Но разве обязательно сотрудники должны отвечать за характер шефа, всего-навсего одного человека, будь он хоть семи пядей во лбу? Не должны. Не могут они отвечать и за то, что одна сотрудница, пусть тоже семи пядей во лбу, удваивает, утраивает число врагов института только из-за своих личных интересов.

Ясно, что это она организовала шум вокруг Пака. И началось: порочная методика, финансовые нарушения, личная жизнь, прошлое директора. Быстро вспомнили, что он не только был в плену, но и проповедовал пораженческую якобы установку: «Последнюю пулю надо оставлять врагу, а не себе».

А несчастный летчик с сыновьями... Где он, как живут сейчас его дети? Судя по тому, как он вел себя в день после смерти, его не организуешь на подлость, он разберется, что к чему. А ведь, рассуждая механически, Назарову следовало бы использовать его против Есетовой. На подлость ответить чем-то равнозначным. Говорят, алмаз легче резать алмазом, а вора легче поймает вор. А как же иначе?

Терпеть, вот как.

Мужество на войне необходимо, понятно, там перед тобой явный твой враг, смертельный. А здесь — твой соратник, вы вместе с ним строите будущее. Нелогично с ним враждовать, досадно — следовательно, тем большее тебе нужно мужество.

## Х

Заседание Общества онкологов затянулось, и Назаров пришел домой поздно, в начале одиннадцатого. Открыла Анна, и ему сразу бросилось в глаза, что у жены не домашний вид, как будто она тоже только что пришла и не успела переодеться. Да и на лице отражалась какая-то дневная служебная озабоченность.

— Ты что так поздно? — спросил Назаров.

— Гм... Это у тебя надо спросить. А я пришла давно.

Анна ответила неприязненно, и Назаров спросил, что случилось.

— Ничего особенного.— Анна пожала плечами и пошла на кухню.— Ничего особенного,— повторила она оттуда.— Садись ужинать.

Он понес портфель в кабинет, недовольный ее вызывающей холодностью,— ведь знает же, сколько у него idiotских хлопот в эти дни!

Он услышал шаги Анны, она остановилась в дверях кабинета и сказала наигранно-весело:

— А если что и случилось, так не сегодня и не вчера, а десять лет тому назад в Москве.

И ушла.

Он сразу вскипел: ах какая подлая сила! Как ловко, молниеносно охвачены заинтересованные лица! Надо же уметь так квалифицированно, так продуманно действовать! Будто их всю жизнь только этой методике и учили. Ах, сволочи, сволочи, такой бы талант да на доброе дело.

Он почувствовал, что запас самообладания вдруг истощился. Пока подлость витала в институте, он терпел, но вот она вошла в его дом, в его семью, ворвалась нагло, по-бандитски,— Назарова перекосило от ярости. Стянув с себя пиджак, сорочку, майку, он пошел в ванную.

Под холодный душ, под самый холодный. Теоретически верно — надо подвергнуть себя истязанию. Отвлекающая терапия. С давних пор самоистязание служило выражением горя. И отвлече-

нием. Сотвори-ка молитву, Назаров, стукнись лбом о метлахские плитки, авось полегчает. Ты не ученый, не директор, ты клушка. Пять лет высиживал и наконец-то вывел птенцов. Да каких — орлов!

Сначала холодная вода, потом теплая, потом горячая и снова холодная — массаж сосудов: сузить, расширить, сузить.

Перед душем он всегда думал: чепуха все эти гигиенические процедуры, блажь! Коли нет здоровья, так с водой оно не придет. Думал, разумеется, для оправдания своей лени. Но, приняв душ, непременно восклицал: ах, как здорово, как бодрит, надо каждый день принимать!

Анна не умела скрывать своего настроения, хотя старалась делать вид «все в порядке», зная, что так предпочитает вести себя ее муж. Такого огорченного лица, как сегодня, у нее не было лет пятнадцать, с той поры, как они поссорились однажды из-за матери Назарова, старой аульной женщины. Мать была права по-своему, Анна — по-своему, один только он неправ, как всякий оказавшийся между двух огней и допустивший эти «огни».

Сейчас своим скоропостижным душем Назаров как бы и жену приводил в чувство, давал ей возможность обдумать, что сказать дальше. Хотя главное она уже выпалила.

Анну редко покидало чувство юмора, она была спокойна по природе, сдержанна. И вдруг — на тебе! Значит убедительно сумели подать, доказательно.

Он представил ее растерянность, ее жалкую роль обманутой жены, ее усилия сохранить спокойствие...

Все вечерние часы, а может быть, и весь день она горевала, отчаивалась, предполагала бог знает что. И потому не переделалась в домашнее платье, а решила встретить мужа казенная, неприступная.

Выйдя из ванной, он сильно, грубо растер полотенцем голову, шею, лицо, стремясь жесткими движениями разогнать предчувствие. «Вот тебе и дома канитель», — подумал он мягко и посмеялся над собой: ишь, чего захотел, канители всего-навсего!

Перекинув полотенце через плечо, он сосредоточенно прошел

на кухню, поставил кофейник на газ, всыпал вместо трех сразу пять ложек кофе и молча уставился на сине-фиолетовое пламя.

«Вечный огонь... Неизвестный солдат. Творя святое дело, не оставили своего имени. Анонимщик»,— с острой горечью сравнил Назаров несравнимое.— Женщины сюда приносят цветы, а не проклятья...»

Он слышал, как Анна пришла на кухню, села за стол и выжидательно смотрит ему в спину — что он скажет? Видимо, сама она не рисковала продолжать в том же наступательном духе. Либо не была уверена в том, что все, о чем ей передали, действительность, а не выдумка.

«Зачем ты, Анна, унижаешь себя»,— хотелось сказать Назарову.

Но сказать ему было трудно, ибо десять лет назад в Москве действительно кое-что произошло.

Кофе всколыхнулось, полезло вверх. Назаров снял кофейник и начал медленно лить черную, как нефть, струю в чашку, глядя вниз и обиженно приподняв брови.

— Теперь у тебя с ней трагедия в духе Шекспира? — не выдержала Анна.

Он промолчал.

— Несовместимые противоречия,— продолжала Анна, сясь придать голосу такую беспечность.— Сочувствую тебе.

Он наконец налил полную чашку, сел, хлебнул и обжегся.

— Могла бы представить, что там у нас творится!

Она пожалела его, кроме того, было смешно, как он обжегся. Но обида сразу вернулась к Анне.

— Но ведь не только у вас в институте, но и у нас дома есть основания для дурного настроения. Поэтому я вынуждена так говорить с тобой... Ты вот молчишь, а я вспомнила, что именно тогда ты был холоден к нам, почти не писал из Москвы... А мы тебе писали все трое, каждый слал свой конверт. Соне было пять лет, она тебе свои пальчики рисовала...— Голос ее дрогнул.

— Не верь сплетням, Анна, ничего не было в Москве,— с трудом выговорил Назаров.

Она ожидала, что он скажет больше, успокоит ее основатель-

ным каким-то доводом, в крайнем случае, пусть даже признается, что да, было, но давно прошло, и теперь ничего нет. Лишь бы не прятался за дремучую изгородь своих институтских передраг и не оказывался в положении «лежачего не бьют». А ей хотелось его ударить, хотелось! Потому что он виноват, не возмутился нелепостью ее подозрения, не прервал ее, принял к сведению и лишь попытался успокоить жену. А если так — значит виноват.

Он размешал ложечкой сахар, перелил кофе в другую чашку, чтобы остыло, и, видя, что Анна вот-вот сорвется, а потом будет корить себя и обоим станет неловко от глупой и грубой минуты, сказал:

— Представь себе, двое-трое казахов-медиков приезжают в Москву. Они только что из Алма-Аты, в курсе всех новостей. Естественно, те немногие аспиранты-медики, которые учатся в Москве и скучают по Алма-Ате, приходят их навестить. Да и приезжие рады их визиту — ведь аспиранты почти москвичи, всюду бывают, знают город, с ними гораздо удобнее, чем со справочными будками и постовыми милиционерами.

Он отпил кофе: Анна молчала, смотрела выжидательно.

— Встречаются обычно в гостинице «Москва», даже если и останавливаются в другом месте, — уныло тянул Назаров. — Встречаемся, делимся новостями взаимно, только и всего... Ходили в музей Пушкина на Волхонке. Посидели в ресторане часов до десяти и разошлись. Только и всего, — повторил он и решительно смолк.

Анна поняла, что добавить ему больше нечего.

— Окончив аспирантуру в Москве, она поступает именно в твой институт. Последовательность вполне понятная, — отметила Анна.

Он пожал плечами.

— Она могла поступить и не встречаясь со мной в Москве. А кроме того — арифметика: институту пять лет, а аспирантуру она окончила восемь лет назад и три года работала в городской больнице.

— Ничего не меняет...

Ее бессмысленные фразы, повторяемые тоном упрека, обвинения мутили Назарова, но он продолжал терпеливо:

— Она работала рядовым анестезиологом, имея кандидатскую степень. А в нашем институте, как в любом новом заведении, были вакантные места. Согласись, что вполне логично кандидату наук заведовать отделением, перейти с девяноста рублей на триста пятьдесят.

— Но почему все это рассказано мне только сегодня? Ах, да что я тебя спрашиваю! — Анна махнула рукой.

Ему не верилось, будто она не понимает, почему именно сегодня. Но он терпеливо слушал и терпеливо оправдывался, ибо перед Анной был виноват — в Москве было то самое, что имела в виду и Анна и тот доброхот, который разжег весь этот сыр-бор...

Мудро было бы сейчас признаться, ах, как мудро, смело, тактично — во всех смыслах положительно, добродетельно!

Но почему нельзя допустить, что они ограничились музеем Пушкина, обедом в ресторане и — только и всего?

— Ты не можешь сказать, кто сообщил? По телефону, что ли?

— Звонила женщина. Мне показалось, она сама. Только говорила в третьем лице: у них была любовь, она не знала, что он женат... Потом, дескать, она вышла замуж, а он решил ей мстить и ждал момента.

— Какая тупость, дурость, черт знает что! — воскликнул Назаров.

Преувеличение развязывало руки, теперь можно защищаться уверенней.

— Был намек и на разницу в возрасте — любовнице было двадцать пять, а законной жене — под сорок. — Анна натянуто улыбнулась. — И представь, на меня подействовало, я даже не ожидала...

Мелкие подонки.

— Наверняка сама эта дура звонила.

— Возможно... Я спросила, чего она хочет конкретно. Было высказано пожелание оставить ее в покое. Все это в третьем лице, как ты сам понимаешь. У нее, дескать, семья, она хочет спокойно

работать, а если будет преследовать, то в дело вмешается муж. Это, говорит, дело чести семьи.

Конечно, сама Есетова звонила, ее манера. Государственный ум! Ах ты дура, дура. Тебе, молодой красивой женщине, гордой по своей природе, не стыдно признаться в блуде. И во имя чего? Карьеры? Ради того, чтобы, как это ни мерзко, опозорить мужчину, и только потому, что мужчина — директор? Директор, который только подумал об оргвыводах, но ведь еще ничего не предпринял!..

Честное слово, у аульной казашки во все времена было больше гордости и достоинства, хотя она не знала ни институтов, ни ученых степеней, не видала ни Москвы, ни Алма-Аты, не читала книг с положительными героями.

А высокое начальство тем не менее воспримет заявление Есетовой не как ее позор, а прежде всего как его, Назарова, должностное, так сказать, разложение. Получается, что они в моральном смысле поменялись ролями.

Но кому эти доводы выскажешь? Редуну? Жене? Секретарю ЦК? Или, может быть, мужу Есетовой?

— Я не знаю, Анна, что тебе сказать, как тебя успокоить, — признался Назаров. — Ты вправе была огорчаться. И хорошо, что заговорила со мной... Но ты должна бы понять, на что рассчитан этот телефонный звонок.

Есетова явно меряла жену Назарова на свой аршин — услышав про измену, та непременно напишет жалобу. И не в хилый институтский местком, который, конечно же, пляшет под дудку директора, а обязательно выше. А если и не станет писать, то наверняка помогает ему нервы и таким образом даст понять, что лучше не связываться с людьми, которые могут за себя постоять и которых голыми руками не возьмешь, будь ты хоть трижды Назаров, хоть четырежды профессор.

Назарову временами казалось, что существует особый психический ток, некий флюид зла. И распространяется он как электроток, достаточно лишь подсоединить, доставить его в квартиру, в служебный кабинет телефонным звонком или в почтовом конверте...

Вместо оправданий он сказал Анне о разговоре с Редуном, о назначении комиссии.

Кажется, она успокоилась, потому что была чиста и доверчива — поверила его лжи.

Но Есетова наверняка продолжит этот сюжет, зная по опыту, если не по своему, так по чужому, что в ставках на «аморалку» ошибаются весьма редко.

...Он сказал Анне, что пойдет сейчас к старику Ерболу посоветоваться.

## XI

Час был поздний, но безлюдная улица удивила Назарова. Когда сидишь в квартире, слышен гул радио за стеной, где-то бубнит телевизор, в форточку проникают по-ночному звонкие голоса, и остается впечатление, будто на улицелюдно, как днем.

А на самом деле — тишина, пустынные гулкие тротуары, неподвижные тени тополей и фонари, бледные, буквой Г, как семафоры.

«Давно я не бродил ночью», — подумал Назаров и пожалел: хорошо ведь — и прохладно, и тихо, и почти полное отключение от забот дня.

От магазина «Сауле» он прошагал вниз до улицы Шевченко и увидел на остановке трамвай.

Когда тебе нужна «двойка» и она подходит, при желании, это можно считать знаменем судьбы. Но когда вместо «двойки» подходит «пятерка» — знамение судьбы уже другого значения. Ербол-ага жил неподалеку, и Назаров не думал о трамвае, хотел прогуляться пешком, но в том, что подошла «двойка», он увидел знамение — это был студенческий трамвай, ездили на нем студенты медицинского института и университета. Следующие остановки назывались так: Дзержинская, Узбекская, Уйгурская. «Что за национальность — дзержины?» — спросил как-то абитуриент. Медики говорили, что он поступал в университет, студенты университета — что он медик, но ни тем, ни другим не хотелось признавать, что такого абитуриента вообще не было.

Хорошо, что остаются давние номера трамваев, прежние маршруты. А вот Уйгурская теперь стала улицей Космонавтов. Та самая Уйгурская, на которой и поныне стоит родное общежитие, и Назарову жаль, что переименовали улицу, будто утратилось что-то сугубо личное, частица юности. Придет время — и переименуют улицу Космонавтов. Несерьезно ведь называть сейчас улицу, к примеру, улицей Шоферов или Пилотов.

Непривычно Назарову идти ночью, странно как-то. Он будто видит свое бледное и, наверно, рассеянное ночное лицо. В аллее — серая пестрота, тень сменяется зыбким светом, и неровные пятна на тротуаре кажутся разными по высоте — темные ниже, светлые выше, идешь, как по неощутимым кустам. Раньше в аллее был просто грунт, вместо асфальта — неровное шоссе, серые «кошачьи лбы». А тени падали только от луны и от солнца — фонарей тогда не было. Меж вершинами тополей были звезды, а теперь этажи домов, стало теснее. И хотя дома — тоже приобретение, но для Назарова — утрата. «Не сердитесь, — хотелось сказать какому-то строгому оппоненту, — я ведь просто так. Эмоции. Воспоминания. Их обновить труднее, чем город. Воспоминания о студенческой поре — особенно».

Все они были студентами — и Есетова, и Замятин, и Лукаш, и он. Пусть в разное время, в разных местах, но в одной стране и с одними, следовательно, идеями, с одинаковыми устремлениями. У всех были комсомольские организации, стенгазеты, все четко знали, что такое хорошо и что такое плохо.

У Назарова на курсе комсоргом была Люба Шило — баскетболистка, худая, высокая, вровень с самыми рослыми ребятами, голосистая, звонкая. О ней говорили: «Шило в мешке не утаишь». Она была еще и редактором стенной газеты, в которой Назаров изредка помещал свои стихи. В стенгазете, чуть ниже обязательного в то время «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», они писали название врачей древности: «Храни огонь этого факела и передай его дальше, чтобы он горел вечно».

Какая она сейчас, Люба Шило, и где она? Утаилась все-таки.

Тогда большинство было одинаково хорошим, меньшинство —

одинаково плохим. После диплома строго разделимые прежде ряды смешались...

Встать бы тогда на курсе и сказать во всеуслышание о той ситуации, которая сложилась сейчас у Назарова в институте! Разве разделились бы тогда мнения? Сколько б негодования, искреннего гнева проявили они, студенты! И Марьям Есетова — не меньше, а может быть, и больше других. Она ведь пылкая, экспансивная, была активной общественницей. Негодовали бы они все одинаково.

Но потом эта одинаковость утратилась. Вот тебе и еще утрата, Назаров.

Но если вместо саманных халуп на Уйгурской стоят сейчас кирпичные и крупноблочные дома в несколько этажей и улица уже носит вполне современное имя, то какие возникли новые построения в душе бывших студентов, иные из которых уже кандидаты, доктора наук, профессора?

Разные построения. И не у всех — новые...

В институтах не учат, как бороться с подлостью. Но ведь и самой подлости в институте не учат, так что не могут сетовать ни те, ни другие на отсутствие подготовки. Получается, что подлецы действуют по наитию, по своей стихии. А если учесть, что человек от рождения добр, то подлым труднее жить: ведь зло в себе приходится наживать, растить, копить.

В разные стороны стали расти одинаковые прежде студенты. Если прикинуть задним умом — соответствующие задатки были. Так ведь не было нужды присматриваться, была уверенность, что сама действительность кое-что ненужное сгладит, всему свое время...

А получилось иначе. Одни стали хорошими практикующими врачами, другие — так себе. Одни стали продвигаться в подлинной науке — медленно, трудно; другие в так называемой научной деятельности — быстро и ловко. Как среди практиков, так и среди теоретиков появились дипломированные личности базарного характера, способные сторговаться насчет лишней псалтэвки-ставки, насчет статьи в сборник, насчет отзыва оппонента. И ничего не поде-лаешь, брат, наследственность, структура гена. Во многовековой на-

родной жизни базаров было больше, чем научно-исследовательских институтов.

Работа в науке и возле нее — это, так сказать, сфера духа.

Другое дело сфера материального производства. У них план: выдай сегодня за смену или за месяц, за квартал столько-то деталей, столько-то пудов зерна, столько-то ракетных боеголовок или столько-то балалаек. И все это весомо, зримо. И за это борются завод, цех, бригада, каждый рабочий. План для них — единый движок.

А в науке у каждого свой план, у каждого свой движок.

На производстве нововведения дают результат видимый; в рублях, в процентах, в экономии металла и так далее.

А в науке?

Назаров хотел со своими нововведениями выйти вперед.

А оказался сбоку. Почему «сбоку»?

Потому что борьба с подлостью стала оптимальным рабочим состоянием директора онкологического института. Когда жмет сапог, не радуется обширность мира; когда гробит склока, не думаешь об излечении рака.

Неужто нельзя человеку бороться с подлостью, оставаясь порядочным? Или это все равно, что стрелять из дуэльного пистолета по угарному газу?

Задаешь себе, Назаров, подлые вопросы, будто усомнился в своей правоте. И все-таки занятно: вакцина против бешенства содержит вирус бешенства. Проще говоря, клин вышибают клином.

Назаров шел к Ерболу-аге, своему родственнику, много лет проработавшему в правительственных учреждениях республики, ныне персональному пенсионеру.

Шел он к нему с простым вопросом: что делать?

## XII

Ербол-ага встретил Назарова радостно — и потому что любил его и потому что, уйдя на пенсию, рад был всякому гостю.

Жена его, сухонькая, но довольно бодрая апа, поздоровалась с гостем и ушла на кухню.

Назаров нашел дядюшку Ербола изменившимся. Уход на пенсию смягчил черты его властного лица, оно стало добрее, с оттенком грусти и, пожалуй, слегка заискивающим. Что ни говори, а пенсия— это вроде социального положения, и положение это накладывает свой отпечаток на лица, типизирует их, нередко сглаживает былую индивидуальность.

Первым делом Ербол-ага справился о здоровье жены, о здоровье детей, все ли в порядке дома, затем спросил о новостях в медицине:

«Айналайн» звучало у него хорошо, как длинное ласковое междометие.

— Как дела, айналайн, скоро ли рак победишь?

Назаров по давней привычке отвечал ему с молодой почтительностью и обстоятельно.

Апа расстелила скатерть, подала чай с баурсаками и рафинадом, на большом подносе поставила яблоки и виноград. Теперь наконец можно было заговорить о деле.

— Агай, я зашел к вам посоветоваться, как с опытным человеком, старым партийным работником.

Глаза старика лукаво сощурились, но он недоверчиво улыбнулся:

— Что я могу посоветовать ученому человеку, почти академику? — Ербол-ага с хитрецей кашлянул, отпил глоток-другой чаю, расстегнул коричневую вельветовую куртку, приготовился слушать.

— У нас умерла больная во время операции.— Назаров помолчал, думая, как ему без эмоций, поубедительней передать одну суть, принципиальную, так сказать, схему.

— Прими мое сочувствие,— строго сказал Ербол-ага.

— Мы стали разбираться и предположили, что одна из причин смерти — плохой наркоз.

— А правда ли, айналайн, что один наркоз отнимает десять лет жизни?

«Мне бы ваши заботы!..» — подумал Назаров и ответил, что нет,

неправда, есть люди, принимавшие наркоз по десять раз — сколько же им жизни отпущено?

— Но дело не в этом, агай. Женщине-врачу, которая давала наркоз, мы высказали упрек, даже еще не обвиняли, потому что расследование впереди. Она сразу же написала жалобу. И началась склока. Крупная склока,— заострил Назаров. Для того, чтобы хоть как-то пронять старика, увести его от мыслей о научных сенсациях.

— Оргвыводы были? — спросил Ербол-ага по-русски.

— Пока никаких. Были только обоснованные упреки,— продолжал Назаров по-казахски, опасаясь, что дядюшка упрячет свой опыт за казенными фразами, станет сразу решать, судить-рядить, а не советовать, что и как.— Женщина эта начала действовать очень энергично, по всем инстанциям. И не без результата — министерство посоветовало прекратить мне главную работу и назначило комиссию — проверить деятельность института.

— Доверие зиждется на проверке,— сказал Ербол-ага степенно.

— Но если министерство будет реагировать на пустяковые жалобы, на интриги и прочее, то не становится ли само министерство вдохновителем и организатором склоки?

— Для тебя — склока, а для той женщины — борьба за справедливость. Вышестоящие органы обязаны во всем досконально разбираться. Ни одной жалобы трудящегося без ответа,— опять сказал Ербол-ага по-русски.

Не надо кипятиться, Назаров, пожалуй, хорошо, что в лице дядюшки ты нашел не единомышленника, а противника. Вполне возможно, что он нарочно взял такую роль, чтобы виднее были все за и все против.

Молчаливая апа подала еще чаю и, видя, что разговор у мужчин предстоит долгий, поставила в деревянной тарелке—табаке вяленую конину — жаю.

— А чья она родственница? — спросил Ербол-ага.

Назаров ответил, что дядя Есетовой — видный ученый, член президиума Академии.

— Атасы баска, аттан тус! — сказал Ербол-ага. Коль не родственник по крови, то слезай с коня!

Назарову думалось, что ссылки на родовые отношения — чаще всего злые толки, преувеличения. Никакой родовой вражды в наше время не должно быть.

Однако он вынужден был признать, что нечто родовое все же существовало в обиходе. Не вражда, нет, а скорее дружба внутри рода, родовое выручательство, если так можно сказать. И тут элементарная порядочность и многие принципы, иногда вплоть до партийности, отходили на второй план.

— Есть такая старинная притча, айналайн. Идет битва, наши несут потери. Отец с сыном скачут бок о бок на конях, уходят от врага. Глядит отец — бежит пешком его родной брат. Тогда отец и сказал сыну: атасы баска, аттан тус! Родной ему сын, родной, но не единокровный, как брат. А ты говоришь — жалоба, склока.

Старик замолчал. Молчал и Назаров, слегка озабоченный тем, что старик привел ему притчу как приезжому, как не казаху.

— Значит, все правильно, агай — жалобы, кляузы, комиссии? — наконец спросил Назаров. Ему не удавалось уловить принципиальную точку зрения дядюшки.

— Все правильно, айналайн. Одни работают, другие жалобы пишут, третьи комиссии создают, — все правильно. Не мы с тобой это открыли, не нам с тобой закрывать.

— Но справедливость кто-то должен защищать! — воскликнул Назаров будто школьник, ибо как-то уж очень по-детски поставил проблему Ербол-ага. То ли циник он, то ли идеалист, где его былая твердокаменность?

— Чем одному искать правильную дорогу, айналайн, лучше плутать со многими.

Вполне возможно, но Назарову теперь и плутать-то не с кем.

— Агай, факты, приведенные в жалобе, должны проверяться? Или всему верят без оглядки?

— Все имеет значение, айналайн, когда надо. А когда не надо, ничего не имеет значения. — Видя недоумение Назарова, старик

уточнил: — Никогда ничего не скрывай, айналайн, в своей биографии.

Назаров молча кивал, соглашаясь, что скрывать ничего не следует.

Разговор явно забуксовал — одно и то же заладил Ербол-ага. Но смутно Назаров все же ощущал стремление старика натолкнуть его на что-то важное, причем так, чтобы Назаров своим умом дошел. Нарушая обиженное молчание, Ербол-ага спросил не без любопытства:

— А верно ли, что в Гурьевской области рак пищевода в четырнадцать раз чаще, чем в Джамбулской?

— Верно, верно, — вздохнул Назаров.

— А почему, айналайн?

— Я вам подробно расскажу в другой раз, Ербол-ага, — не совсем учтиво ответил Назаров.

У Назарова истощилось терпение и он заговорил напрямик:

— Я все понимаю, Ербол-ага. Тот, кто написал жалобу, всегда прав. Тот, на кого написали жалобу, заведомо виновен, и только после тщательного разбирательства это обвинение можно снять. Вы это взяли не с потолка, а на основании опыта своей работы.

Старик уловил нехороший намек насчет своей работы. Как всякому пенсионеру, она ему была дорога и полна доброго смысла. Он обиделся, но не подал виду.

— К сожалению, почти так, айналайн. Ведь жалобы очень часто пишут от души, искренне, а не от желания оклеветать. Искренне верят, например, что врач допустил ошибку, или руководитель наказал без особой причины, пишут ослепленные горем от потери близкого, или ослепленные гневом из-за несправедливого наказания. Пишут разные люди по разным причинам. А наша практика разбирательства жалоб построена так, будто все они обоснованны. Это демократично. Практика рассмотрения жалоб рассчитана на порядочного человека, и это в принципе очень хорошо, айналайн, ты должен согласиться.

Напрашивался горький вывод. Любая жалоба вызывает цепную реакцию: жалоба — проверка — протокол — неудовлетворенность

жалобщика. Опять жалоба, еще более хлесткая, опять проверка (на сей раз уже специальной комиссией), заключение — опять неудовлетворенность. И все выше, выше, по диалектической спирали. И все упорно соблюдают принцип демократии: надо разобраться. «Настой саксаула излечивает рак!» Надо разобраться, созвать коллегию, ученый совет. «Моча беременной женщины лечит глаукому!» — надо разобраться. А доверие специалистам? «Доверие зиждется на проверке».

— Любая практика, Ербол-ага, должна исходить из реальности. А реальность такова, что порядочный человек не пишет жалоб.

Старик занервничал, разговор стал не по душе ему. Назаров это видел, но все же как можно спокойнее спросил: так ли уж обязательна комиссия?

— Если комиссию назначали, значит есть основания, — сердито ответил старик. — Это я точно знаю. Ты можешь быть хорошим профессором, но плохим директором. Хороший руководитель комиссию не допустит, не будет плевать против ветра. А ты допустил. А если комиссия, значит разговор обязательно пойдет: либо ты шубу украл, либо у тебя шубу украли, но разговор пойдет.

— За пять лет мы подняли институт, создали его на голом месте, — не в силах скрыть обиду, заговорил Назаров. — От нуля довели до сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения. К нам едут ученые со всего мира. Мы перенимаем опыт и передаем опыт в крупнейшие центры мировой науки. И вот по кляузе одной спесивой бабы создаются комиссии, ставится под вопрос компетентность дирекции, партийной организации, всего коллектива...

— Айналайн, ты пришел за советом, ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю. Я говорю, как у нас принято, а ты делай выводы. Если оказался наковальней — терпи. Но если оказался молотом — бей.

Назаров понял, что своей дотошливостью, непочтением к мнению старшего он разгневал старика. И будь тот прежним начальником, дал бы онкологам такую комиссию, что не помогло бы никакое «родовое содействие».

Назаров сказал, что уже поздно, извинился, поблагодарил и стал прощаться.

Несмотря на тяжелый, мутный разговор, он, как ни странно, решил, что ему приблизительно надо делать.

### XIII

Он вышел на улицу прихрамывая. Нога ныла с самого утра, но весь день боль оставалась в подсознании, как тихий колокольчик. К вечеру она все ощутимей стала стучаться в сознание. Вполне возможно, он растравил старые раны холодным душем.

Но если думать начистоту, то не душ, не смена температур стали провоцирующим фактором, все дело в нервах. Физиолог Хорошко говорит, что утомляет не работа, а озабоченность. Любое переутомление ведет к болезни. Американские психосоматики считают, что любая болезнь есть материализация душевного конфликта.

Назаров представил вдруг лицо и весь облик Сараева, директора института краевой патологии, сильно сдавшего за последние два года. Сараев попал в орбиту склоки, как белка в колесо, и теперь только тем и живет, что набирает скорость в этом самом колесе, а вырваться уже не может. Второй месяц в Москве, ищет справедливости. Вот тебе близкий, наглядный пример психосоматики. Задавлен склокой, жалобами, но в большей степени своей же борьбой за справедливость. Конченный человек, некуда ему уйти из института — ни на преподавательскую работу, ни на пенсию. Нигде не сможет обрести теперь покоя. Остается бежать. В одном направлении — на тот свет.

То же самое ждет и тебя, Назаров... Вот уже шкандыляешь один-одинешенек по ночной улице... Дадут тебе пенсию по инвалидности, и академик Капица не возьмет тебя даже для примера низкого коэффициента полезного действия наших ученых — у инвалидов своя статистика.

Верно сказано: там, где нет объективной меры, нет и объективной политики, отсюда обиды и раздоры в научных учреждениях. Их гораздо больше, чем на заводе. И, наверное, не потому, что в институты идут одни склочные люди, а потому, что нигде, как в науке и творчестве, нет таких различий между сторонней оценкой ученого,

поэта, художника и его самооценкой. Непризнанный гений в науке и искусстве — почти правило. Непризнанный гений на заводе — большое исключение.

Так-так, Назаров, шкандылай дальше, непротивленец злу, в ногу с Сараевым и в том же направлении. Все пятьдесят лет ты был наковальной — и только. Звонкой наковальной, лупили твою личность так, что искры сыпались.

Не пора ли и тебе стать молотом?

...Онкологи мира считают, что половину всех раковых опухолей можно предупредить, ЕСЛИ вовремя принять надлежащие меры. А лучшая из мер — удаление.

Есть в институте онкологии люди, есть и опухоли. Клиника показывает, что опухоли — злокачественные — дают метастазы. И онкологи должны противостоять раку применением радикальных средств. Пока сами не получили метастазы, к примеру, как Замятин с его философией уступок для пользы дела. А если не противостоять, то в этом, по мнению Назарова, одна из причин того, о чем говорил Капица: «Примерно с таким же количеством научных работников (в США восемьсот тысяч, у нас — семьсот тысяч) мы производим половину той научной работы, которую производят американцы».

Если коллектив большей частью поддержит, — значит директор на своем месте. Каждый народ заслуживает своих правителей. Если же коллектив не поддержит, — туда тебе, директор, и дорога.

Вполне возможно, что потом он вспомнит об этой суете с усмешкой.

Вполне, однако, возможно, что сложись его жизнь иначе, он не принял бы происходящее так близко к сердцу и действовал более решительно.

#### XIV

Как ему было жить без тревог, если с самого рождения он в беду попал — родился в семье муллы!

Много раз он писал в автобиографии: родился в 1917 году в

семье бедняка-кочевника. По анкетам, все казахи происходили от «бедняка-кочевника», хотя оседлые, жатаки, были еще беднее, оседлыми они стали не от тяжести достатка, а оттого, что не на чем было кочевать.

В год революции и рождения сына Мажит-мулла имел десять коров, десять лошадей и три десятка овец. По тем временам такое хозяйство у казаха не считалось богатством, так что Назаров не особенно погрешил против правды насчет социального происхождения.

Перед коллективизацией Мажит-мулла посадили. Хотя оставался к тому времени один конь в хозяйстве, посадили не за недостаток, а за влияние — в юрте бая Кульмагамбета за кумысом Мажит-мулла сказал: «Лучше своя кошка, чем общий верблюд».

Мажит-мулла увезли, а мальчонку Айдара взял себе по закону рода старший брат отца. Сначала ему жилось вполне терпимо, но в тридцатом году в степи начался голод. Кинь палкой в собаку — падешь в гостя. Много стало приемных детей в семьях, от одного брата, от другого, от третьего, и в аулах вспомнили старую поговорку: «Было у нас шестеро детей. Умирили, умирили — стало семеро».

Как ни сильны были законы рода, голод оказывался сильнее. Нетрудно предположить, что стало бы со многими сверстниками Айдара, если бы государство не создало в ту пору детские дома. Сейчас Назаров без всякого затруднения может назвать пятнадцать-двадцать славных имен ученых, писателей, композиторов, геологов, Героев Советского Союза, которые вышли из детских домов республики.

В детдоме было голодно и холодно, но там учились, были одеты, обуты и не скучали, ибо в коллективе при любой жизни не заскучаешь.

Через год дядя по матери, Ербол-ага, перевел Айдара в Алматы. Там в тюрьме содержался Мажит-мулла. И хотя увидеться с ним не удавалось и даже не принимались передачи, но спокойнее как-то жилось в одном городе, будто в одном ауле, хотя и в разных юртах.

Ербол-ага к тому времени закончил в Ташкенте важные курсы, был коммунистом, работал инспектором по снабжению, но сам еле

ноги волочил от голода, ибо ведал одними бумагами-разнарядками: столько-то картошки, столько-то отрубей, столько-то пшена. Айдар как-то увидел у него бумагу «на пятнадцать тонн черепахи» для детских домов, именно тонн, а не штук; представил, как их будут взвешивать по килограмму, по два, а лишнее, следовательно, рубить. Черепаху — рубить! Занятно.

Тридцать лет спустя в Лос-Анжелесе (штат Калифорния) доктор медицинских наук, профессор Назаров заказал в ресторане деликатес — дорогое блюдо из черепахи, от воспоминаний разволновался и не мог есть...

Многие события той поры (ему кажется — все) Назаров хорошо помнит, но особенно один из весенних дней тридцать второго года, когда по Алма-Ате разнесся слух: прибыл из Москвы отдельным поездом большой начальник, близкий к Сталину человек по фамилии Сольц. (Казахи говорили «Солис»). Поезд остановился на станции Алма-Ата I — железнодорожной ветки до самого города еще не было. Из КазЦИКа подали машину (на всю республику было тогда три легковых машины), но Сольц не заехал ни в Крайком, ни в Совнарком, ни в КазЦИК, а напрямик направился в тюрьму на Узбекскую.

Чем он там занимался, как себя вел, сказать трудно. Но к вечеру в Алма-Ате, как тогда потихоньку передавали, многие семьи приютили на ночь кого-нибудь из освобожденных Сольцем.

Вышел из тюрьмы и Мажит-мулла, сильно похудевший, но бодрый. Тяготы жизни не сломили его ни тогда, ни позже. Айдар считал, что отец его несгибаем, потому что он — его отец, самый лучший человек на земле.

Сольца отец боготворил и описывал его необыкновенным.

«Старый, седой, головы нет», — сказал Мажит-мулла. — «Как головы нет?!» — «Лоб есть, уши есть, все есть, только сверху кости нет, резинка дышит, — пояснил отец. — Кости нет — значит можно свободно думать, ничто не мешает...»

Они всю ночь проговорили с отцом. Айдару уже было пятнадцать лет, и он кое-что понимал.

«Ну как, сынок, тяжело быть сыном муллы?» — спрашивал отец.

Нет, Айдар не сказал бы, что тяжело. Но обидно — это верно. Обидно оттого, что некоторые люди пакостны и глупы, стыдно за них. Если тяжело, так не от отцовского наследства, а от грубостей воспитателя или шелопаля сверстника.

«Терпи, сынок, терпи и учись,— говорил отец.— У казахов нет хлеба, нет хорошего скота, и здоровье у людей плохое... В этих бедах ты должен помочь народу, именно такую выбери себе жизнь. Наш род Каракесек — Черной земли комок. Немало ученых сынов вышло из Каракесека. Будь и ты достойным своего рода, основанного досточтимым Булат-кожей. Мы — в тринадцатом его колене, сынок...»

В ночном разговоре отец несколько раз вспоминал Сольца, и видно было, что не только из чувства благодарности. Смутил душу Мажит-муллы коммунист из Москвы; из тюрьмы-то освободил, а думы к себе потянул без конвоя. Когда и где успел отец услышать диковинную, необычную для той поры историю, Айдар не мог представить. А история выглядела так.

Приходит к Сольцу комсомолка в кожаной тужурке, в красной косынке и говорит: «Я выгнала из дому свою мать! Потому что она попадья, а я комсомолка и не могу жить с ней под одной крышей». Выслушал ее Сольц и спрашивает: «Комсомольский билет у тебя есть?» — «Да!» — отвечает она с гордостью. «Положи его вот сюда»,— говорит Сольц и показывает на свой стол. Она положила. Тогда Сольц вот что сказал: «Твоя мать попадья для меня, попадья для других, а для тебя она — родная мама. И ты ее выгнала из родного дома. Комсомол не может опираться на таких, как ты, уходи!..»

Рассказывал об этом Мажит-мулла, и губы его тряслись, вот-вот заплачет.

Принимал участие в разговоре и Ербол-ага, говорил по-новому — о ломке феодальных устоев, о борьбе с пережитками, о том, что степному казаху двигаться вперед мешает слепота. Мажит-мулла кивал, слушал молча, кротко, только сказал: «И слепой конь повеет, если ездок зрячий».

Вскоре отец уехал в аул и до конца своих дней проработал в колхозе счетоводом.

Назаров рос неразговорчивым, замкнутым, учился хорошо. Лет с двенадцати-тринадцати привык следить за каждым своим словом, за каждым шагом, чтобы не наткнуться лишний раз на упрек — сын муллы.

Айдар не мог громко смеяться, не мог жарко спорить, привык ходить не размахивая руками, жил по пословице: козла бойся спереди, коня сзади, а дурного человека со всех сторон. Если он брался за какое-то дело с огоньком — значит, выслуживается сын муллы. Если отказывался выполнить поручение — саботажничает сын муллы. Получил «отлично» — замазывает грехи сын муллы, получил двойку — советскую учебу не признает.

Такое выделение, умышленное со стороны взрослых и бессознательное, больше от шалости, со стороны сверстников, отчасти способствовало тому, что Айдар повзрослел рано и стал надеяться только на свои силы. Однако думая о будущем, он еще надеялся и на Москву — все равно приедет кто-нибудь и во всем разберется; надеялся так, как Мажит-мулла надеялся на Муграш — некий, по-русски говоря, административный центр на седьмом небе.

Десятилетку Назаров окончил на отлично и с помощью Ербол-аги поступил в медицинский институт. В сорок первом, сразу после института, он пошел на фронт.

Война изменила, подняла самочувствие Назарова, как это ни жестоко, ни странно сознавать. Прежде ему не доверяли редактировать стенгазету, он не мог защитить себя на собрании, а теперь доверили оружие для защиты родины. Он получил шпалу в петлицу и вместо «сын муллы» его стали звать «товарищ военврач третьего ранга».

В сорок втором году часть попала в окружение, и медсанбат угодил в плен. Назаров бежал вместе с группой раненых. После проверки ему возвратили звание и уже не шпалу, а погоны с четырьмя звездочками. Войну он закончил в Германии и в Алма-Ату вернулся майором, думая, что если бы не плен, был бы полковником, однако особенно не жалел — стань полковником, вряд ли станешь ученым.

О радиологии он не мечтал. В сущности, медицинской радиологии тогда еще не существовало. Случайно в городском здравот-

деле задержалась путевка в Москву на специализацию по рентгенологии, ему предложили, и он поехал.

Тему кандидатской утвердили, он ее с успехом защитил и с этого времени, можно сказать, пошел в гору.

Когда человек становится виднее, одни люди видят и ценят его достоинства, другие же прежде всего подмечают его недостатки, промахи, а если их нет, ищут заковыку в биографии. Такова уж природа обывателя — чем достойнее человек, чем виднее, тем сильнее хочется косному на него плюнуть и достичь душевной умиротворенности.

А тут еще и женитьба, по разговорам, выгодная.

С Анной они вместе работали в рентгенологическом кабинете, вместе готовили диссертации, почти в одно время защитили. Свое предложение невесте Назаров выразил в такой форме: «У рентгенологов лейкемия бывает в девять раз чаще, чем у других врачей. Значит, мы должны жить в девять раз быстрее, так что, не откладывая, давайте поженимся!»

Анна, дочь известного в республике профессора терапии, была независимой, ироничной, жизнерадостной, судьба ее сложилась совсем иначе, чем у Назарова, и с чего, с какой общности началось их сближение — сказать трудно.

Настал пятьдесят шестой год, круто изменивший судьбы многих. Назаров с успехом защитил докторскую диссертацию по радиологии и в январе пятьдесят седьмого вступил в партию.

«Что-то ты повеселел, — говорила мужу Анна. — Уж не влюбился ли?»

Он полушутя объяснял ей прочную связь политики с физиологией: в зависимости от характера внешних импульсов выделяются в организме вещества либо стимулирующие, либо угнетающие. Хорошие вести дают положительную эмоцию, отсюда больше адреналина в крови, повышается тонус сосудов, прибавляется энергии.

Постепенно заглохли звонкие обвинения тридцатых и сороковых годов, популярней стали сочувствия. Назаров не жаждал состраданий, молчал, но причисление к жертвам было куда терпимее былых причислений к чуждому элементу.

Анна не спала и, глянув на мужа, не могла скрыть беспокойства. Назарову ее опасения показались пустячными. Он не знал, как следовало бы оценить степень его вины, но сейчас ревность Анны была не ко времени, да и вообще, снявши голову, по волосам не плачут.

Увидев каменно-сосредоточенного Назарова, с удилами-складками ниже ноздрей, Анна подумала, что, наверное, с таким лицом он жил там, в плену.

— Ужинать будешь? — спросила она участливо.

— Нет... Чаю покрепче. Да ты не хлопочи, я сам.

— Чаю? На ночь? Работать будешь? — Она еще старалась сохранять холодные нотки, но только для виду, ибо сама уже сочувствовала мужу. Ей хотелось расспросить о разговоре с сородичем, что-то еще и самой посоветовать — ведь он всегда делился с ней тревогами, сомнениями. Но Анна понимала, что после допроса насчет Москвы ее участие может показаться неискренним, ибо она в таком положении, что сама, в сущности, нуждается в утешении не меньше, а то и больше. И она решила сделать вид, что не замечает его лица, его терпеливого отчаяния, от которого даже ей зябко.

Сутулясь, он пошел на кухню, а у нее защемило сердце — таким он показался одиноким!

Дочь спала, ей не до отца, видит сны по своим заботам; сын еще читал, лежа, придвинув лампу к самой подушке. Он тоже отсутствовал — весь в книге.

«Как будто действительно ему больше всех надо! — с горечью и обидой подумала Анна. — Приходится доказывать негодьям, что ты не ровня им. Не доказывать даже, а просто не поддаваться на провокации и оставаться самим собой».

Каждый остается таковым — и негодяй и порядочный.

— Ты намерен всю ночь бодрствовать? — сказала Анна, входя на кухню.

— Да, всю ночь бодрствовать, — ответил он машинально, глядя

на кофеварку, затем не спеша взял спички и, видя, что жена стоит, добавил:

— Мне надо написать.

— Что? Не секрет?

— Слово о раке.

— Тысячу первое слово о раке,— сказала она без упрёка, с легкой иронией, так, как любил он, чтобы она говорила.

— О раке души человеческой,— пробормотал Назаров опять же машинально и подумал, что смешно ведь, но в горе почему-то людям хочется говорить высоким стилем.

Он поднес спичку к горелке. Пламя вспыхнуло со взрывным дуненьем, как будто вырвался дух земли, нечистая сила. Таким сочным синим пионом. Пламя отвлекло Назарова — как будто дал выход и поджег свой жаркий гнев, пустил красного, синего в данном случае, петуха.

Она села на стул, еще не в силах помириться, но в то же время жалея его и давая понять, что если не сейчас, так потом обязательно простит, пусть хотя бы это его не беспокоит.

— Может быть, тебе помочь? — проговорила Анна холодно.

— Что-что? — переспросил он.

— Может быть, говорю, помочь тебе отпечатать на машинке?

— Нет, я так, наброски...

Он помолчал и спросил, будто потеплев от огня:

— Как ты думаешь, это будет не очень смешно?

— Что именно?

— В здоровом организме появилась опухоль. Постепенно она дает метастазы. Следовательно, опухоль надо удалить вовремя.

— Смешно,— сказала Анна.

Он искренне удивился — почему?

— Смешно говорить взрослым о том, что известно детям.

— Примитивно, да? А если сказать, что одна паршивая овца испортит все стадо, так понятней?

— Не очень эстетично,— все еще упорствуя в своей холодности, но охотней ответила Анна.

— Пусть так и будет — у чабанов одни аналогии, у онкологов —

другие. По последним данным, вирус не разрушает клетку, вирус злокачественно ее изменяет и в росте опухоли сам не принимает никакого участия — исчезает.

Анна не выдержала, улыбнулась.

— Что ж — похоже.

— И самое верное средство — это мобилизовать защитные силы организма. Чтобы никакой вирус не прицепился!

Анна поднялась, отошла к двери, хотела сказать что-нибудь утешительное, но слова не шли.

— Ладно, Назаров, желаю тебе бодрости, основатель административной онкологии.

До замужества она только так его и звала: «Назаров».

В квартире наступила тишина. Час был поздний — начало второго, надо еще посидеть часа полтора-два, а вставать завтра в восемь — Назаров завел будильник.

Он его не заводил лет десять. Да, уже десять лет, как живет без будильника. Сразу после защиты докторской... Впрочем, не в докторской дело, а, пожалуй, в возрасте. Стукнуло сорок и перестал, как говорится, дрыхнуть. Почему так говорят: спит без задних ног?..

Маленький изящный будильник звонко тикал в ночной тишине. Пластмассовый, белый, миниатюрный... И звенит-то он по-современному, щадя нервы. Не звенит, а воркует... Жаль, что не сохранил ты, Назаров, свой старый будильник-работягу — громоздкий жестяной короб с никелированным звонком. Сложны были отношения с этим устройством в былые-то годы! В пять утра будильник — др-р-р! Назаров тотчас бац на рычажок — молчание. И еще час храпака. Вечером, определив, что для завершения всех дел сегодня не хватило именно того самого часа, урезанного у самого себя, снова ставил стрелку на пять и заводил пружину до отказа. Наутро снова: др-р-р, снова: бац! — а вечером опять нехватка одного часа. «Как сделать в сутках двадцать пять часов?» — «Вставай на час раньше». Потом он решил ставить будильник в дальнем углу комнаты — пока дойдешь, чтобы остановить, наверняка проснешься. Пободался он тогда с этим другом — спутником молодого ученого и потом всегда посме-

ивался, слыша самоуверенные признания: мне не нужен будильник, у меня жесткий режим. Режим режет дневные дела для того, чтобы выспаться ночью,— кому что.

Как-то в Москве на высоком ученом совещании Назаров услышал: «Как живете, Фан Фаныч, с будильничком-с?» и в ответ: «Увы, с люминальчиком-с». Всему свое время, в одни годы не проснешься, в другие лета не заснешь.

Нога болела, боль пульсировала и с каждым ударом сердца как будто нагнеталась больше и больше. Назаров выпил сразу три таблетки — аспирина, пирамидона, анальгина («больше — от слова боль?»), вернулся снова к столу с чистым листом бумаги, постоял-постоял, махнул рукой и пошел спать.

## XVI

Проснулся он без будильника и в институт хотел пойти пешком, не дожидаясь машины, но болела нога. Грубая кость, она еще не прониклась боевым духом чутких нервов. Дефективная кость, чокнутая фашистской миной, так тебе и надо!...

«Нет, Айдар, старая добрая кость ноет неспроста. Нерзы у тебя заряжены, что верно — то верно, да только не уверенностью, а тревогой...»

Он настраивал себя с утра на самое худшее.

Нога ныла, боль сверлила, и он взял трость. Привез он ее в прошлом году из Индии. Там в Агре у них центр ВОЗа — Всемирной организации здравоохранения по разделу рака полости рта и глотки. Однажды этот центр долго не откликнулся на одно из предложений алма-атинцев, и в институте говорили: «А ВОЗ и ныне там...».

Трость он привез узорчатую, с диковинной рукоятью, и месяца таскал ее без особой нужды, «задавался», как сказала дочь.

Но последнее время он ходил без трости, и вот сейчас, в самый накал склоки, в день прихода комиссии, является в институт директор с тростью — и оказывается, что хромает он не только в делах руководства.

Дядя Петя сегодня был в новенькой сизой куртке из капрона,

с круглым вязаным воротником. Назаров вспомнил, как в прошлый вторник они вырядились в одинаковые сорочки, поерзал; усмехнулся. «Откуда он все это достает? И на какие деньги?..» Любопытство типично женское, но Назарову хотелось отвлечься, и он спросил:

— Дядь Петя, у тебя жена работает?

— В ЦУМе,— охотно ответил шофер без всякой настороженности, зная, что Назаров спросил отнюдь не для темных выводов, просто так, скоротать время.

— Зарплата рублей девяносто-сто?

— Шестьдесят пять.— Дядя Петя помолчал, глянул на директора, признался: — Больше налево, знаете. Мне это все до лампочки— сорочки-морочки, куртки-муртки.— Он махнул пятерней и вздохнул.— А она говорит: все так делают, не хочу быть хуже других.

«Вот и Есетова так думает: а чем я хуже других?»

Дядя Петя еще раз виновато глянул на Назарова и, наверно, пожалел, что разоткровенничался, ибо лицо директора стало хмурым.

— Мне это все до лампочки,— повторил он с досадой,— говорю, говорю, а она... Характер.

— Я понимаю,— участливо, почти ласково сказал Назаров.

Ему стало жалко шофера, не брезгливо, а чистосердечно жалко. Скромный хороший парень, он совсем не гонялся за длинным рублем. Имея первый класс, мог бы уйти в таксисты, но довольствовался малым, возил директора, иногда ученых гостей, иногда срочных больных, кого попросят. В институте было одиннадцать частных машин сотрудников — «Волги», «Москвичи», «Запорожцы», и дядя Петя никому не отказывал посмотреть, проверить зажигание, отрегулировать клапана. И денег никогда не брал, чем ставил частника в тупик, ибо и водки не пил. Чем-то он был похож на Замятина. Однако почему-то ни с дяди Пети, ни с Замятина шоферы и ученые примеров не берут, эти типы не для широкого подражания. Не возьмет Есетова пример с Замятина, а упреки, скажи — ей смешно станет, ибо в ее понимании хуже, чем Замятин, научного работника не найдешь: кандидатскую из-под палки защитил.

Назаров глянул на часы! — без пяти девять, и вспомнил про один и тот же отрезок времени...

Прошла неделя — от вторника до вторника. Он, Назаров, вместе с институтом прожил один и тот же отрезок времени. И не только с институтом — вместе со всеми онкологами мира. Но как? Чему этот отрезок был посвящен у него лично?

Можно лишь ставить такие вопросы. И не отвечать. Не травить раны.

Он выйдет к трибуне под бой курантов. Так любят говорить демагоги и пустобрехи. Он, наверно, не таков, но и ему хочется заручиться каким-то символом. Он выйдет под бой курантов, не беда, что это затаскано.

Скорее бы!

А что скорее, куда скорее?

Скорее бы лечь, поднять ногу вровень с головой. Легче станет.

Вот она, вывеска: «Казахский научно-исследовательский...» и т. д. и т. п. Звонкая дребедень. «Люди и опухоль» — вот подлинная вывеска этого конгломерата.

Вот и кабинет, темный тамбур, за ним успокоительная тишина, портреты ученых в рамках. У кого из них была легкая жизнь! Кто и что делают ее трудной для ученого, непременно трудной?

Он, наверно, знает теперь, может быть, не столько знает, сколько чувствует, но... чепуха, разница тут только в условных словах-символах. Однако хватит тянуть, хватит терпеть. Диагноз точен, неутешителен, и пора принимать меры.

Ты боишься, хотя и коммунист, доктор наук, член-корр Академии, но — сын муллы и бывший в плену. Ты трусишь, носитель феодально-байских пережитков, партбилета и осколков фашистской мины в костях.

Ах во-он почему ты дрожишь. «Человек добр!» Ты возомнил себя порядочным, и за пятьдесят лет не имел возможности это доказать публично. Наковальня, обитый железный пень.

Что вбило в тебя эту дрожь перед подлостью? Отчего она? Оттого, что в аульной кузне любой мальчишка может подойти, взять молот и долбануть для звона и своего утешения?

Ты дрожишь, сцепив зубы от боли. Еще от чего? От стыда еще, оттого, что тебе придется сейчас выйти на трибуну, и шестьсот чужих людей будут слушать то, о чем стыдно говорить седому заслуженному человеку. Но ты должен говорить, ибо скрывающий свою болезнь умирает. Логично, но специфику свою не учитываешь, Назаров: больному нельзя говорить, что у него рак, а сказать, значит убить его прежде времени, деморализовать.

Нет, не опустятся руки у его соратников. Надо так сказать, чтобы возбудить яростное желание отвязаться от недуга. И еще ты должен непременно доказать, что жертвы — необходимы, что в организме не просто легкое функциональное расстройство.

Ты — врач, ты — исцелитель. Храни огонь этого факела и передай дальше, чтобы он горел вечно!

Перед ним в полукруглой чаше конференц-зала все отделения — хирургическое, радиологическое, химиотерапевтическое, весь экспериментальный корпус, цитологи, патоморфологи, кочегары котельной, прачки, повара, плотники мастерской, — шестьсот пар глаз, как древние греки в Колизее. Они что-то знают, чего-то не знают, но все вместе про институт они знают все! Поэтому он и обращается ко всем вместе — пусть решат, разберутся, пусть хотя бы почувствуют, кто неправ.

— Большую часть своей жизни в эти дни, в эти годы мы с вами проводим именно здесь, на работе, — глуховато, медленно начал говорить Назаров. Не было ни ведущего собрание, ни президиума — он один и напротив чаша людей, плечи и головы по рядам, а в проходах еще и тесная чаща ног.

— Вы догадываетесь, о чем, примерно, пойдет речь сегодня, и я не буду томить вас долгим ожиданием. Кто-то должен заговорить первым. Я жду вашего слова, вы — моего, но ожидание должен нарушить тот, кто в силу обстоятельств оказался старшим.

Недавно мы отмечали первый скромный юбилей нашего молодого института. Мы увидели, что кое-что нами сделано в борьбе с недугом, у нас было хорошее настроение.

Но вот прошел месяц — и многое изменилось в наших стенах. В лабораториях и больничных палатах появились тревога и озабоченность. Всем вдруг стало тяжело работать. А вы знаете, что хорошее настроение у врача — это половина здоровья больного. Давно, наверно, лет восемьсот тому назад наши коллеги-медики взяли себе за правило: лечащий, когда приходит к больному, пусть будет приветлив и весел, и остроумен, и развеселит больного, ибо подкрепление, которое врач дает больному, умножает силу природного тепла.

Завтра, как и сегодня, у нас будут больные, завтра, как и сегодня, врачебная совесть должна быть чистой, как наши операционные халаты.

В чем же дело? В чем причина нашего смятения?

Недавно у нас умерла больная на операционном столе. Мы только сделали попытку определить причины и даже не заговорили о ответственности, которая сама собой разумеется при всяком несчастном случае. Но дальше события стали развиваться так, что смерть этой больной по сути осталась в стороне. Началось, можно сказать, вторичное осложнение.

Сейчас я вынужден то и дело прибегать к сравнениям по той причине, что называть прямо те черные и подлые дела, которые творятся некоторыми нашими сотрудниками, мне не позволяет честь ученого. Да и вы, товарищи по работе, такого низкого разговора ничем не заслужили.

А суть происходящего тем не менее надо высказать, она должна быть ясна для каждого.

Не всегда можно ответить на вопрос о причине неожиданной смерти. Трудно, а иногда и невозможно установить виновника происшедшего — нередко виноват организм больного, если только можно винить организм за ту тайну, которую наука еще не успела познать. Но тем не менее разобраться в любом несчастном случае мы должны, это естественная реакция человека вообще, а врача, гуманиста — тем более. Наша попытка выяснить причину смерти не понравилась кандидату медицинских наук Есетовой, заведующей наркологическим отделением. Считая наши замечания и довольно обо-

снованные предположения несправедливыми, она решила добиваться истины не путем научного доказательства, а составлением жалоб, требованием комиссий, стала на путь сутяжничества.

В зале стояла полная тишина,— ждали главного, и чувствовали, что вот-вот оно прозвучит. Удовлетворит ли оно всех? Волнение Назарова прошло, аудитория была захвачена, и Назаров стал спокоен — он ждал такого зала, своего зала, он надеялся на такое внимание.

— Я хочу сказать истину, известную большинству из вас, хочу повторить ее в новом применении. Как известно, рак — это опухоль, не ограниченная какой-либо полостью, это не яйцо в скорлупе, а прорастающее новообразование. Рак словно щупальцами пронизывает здоровые ткани. Но самое опасное — клетки рака по сосудам крови и лимфы разносятся по всему телу и могут где угодно дать со временем другую опухоль. Мы знаем, что самое верное средство — удалить опухоль, вырвать ее вместе с чудовищными корнями...

Трудно было Назарову на такой банальной истине удержать внимание, но все молчали, ждали, что вот-вот он вернется к заветному.

— Я хочу сказать вам, не претендуя на открытие, а лишь подтверждая факт: не так страшен рак легкого, рак пищевода, желудка, другого органа, ибо мы, если не всегда излечиваем до конца, то хотя бы всегда можем точно диагностировать. Страшнее рак души человеческой. Сама постановка диагноза опухоли мозга не мстит врачу, но диагноз рака души приводит эту душу в ярость, стимулирует ее злокачественные свойства, и канцер души начинает защищать, отстаивать и утверждать свое злое право на существование, бешено рвется давать метастазы в непораженные души, в их помыслы, в их дела. Я говорю это к тому, что есть уже метастазы в здоровом теле нашего коллектива. Запрет министерства на методику крупного фракционирования, анонимные письма в адрес дирекции, крупнофракционные жалобы в высокие инстанции, стремление вызвать у тяжелобольных недоверие к нашей лечебной практике — вот вам метастазы!

— Три с половиной, четыре получают — с жиру бесятся! — сипло, но громко сказал кочегар Тифтикиди.

Возник гул, и Назаров поднял руку.

— Я надеюсь, что в нашем здоровом организме найдутся силы, способные противостоять любому злу!

— Долой склоку! — звонко сказал кто-то, кажется, Досов из химиотерапии.

— Коммунисты! — выкрикнул Леня Ошевенский, молодой рентгенолог, крикнул с испугом, волнуясь, как кричат милицию.

Поднялся неясный галдеж, и Назаров повысил голос:

— Я обращаюсь к местному комитету с просьбой обсудить поведение Есетовой на собрании. И одновременно вношу предложение освободить Есетову от занимаемой должности и от работы в институте вообще.

— Давно пора! — опять крикнул Досов, будто подговоренный.

— Я вношу предложение провести послезавтра общеинститутское открытое партийное собрание с такой повесткой: о нравственной ответственности работника перед своим институтом, о чувстве долга, о товариществе и благородстве. На днях к нам должна прибыть комиссия министерства — пригласим ее на это собрание. А сейчас конференцию объявляю закрытой.

— Прошу слова! — выкрикнул кто-то, кажется, Алиханов.

— Продолжим! — боевито предложили еще несколько голосов.

Назаров отошел от трибуны и энергично пошел к выходу, думая: «Ход конем! Это я сделал ход конем!» и с каждым шагом чувствуя, как боль от ноги пронизывает позвоночник и стреляет в самый затылок, очень прицельно, локально.

Секретаршу он попросил никого к нему не пускать.

— А Галину Федоровну?

— Совсем никого.

Зайдя в кабинет, он сел на диван сбоку, как посетитель, не сел, а привалился, щадя больную ногу. Отдышался и огляделся...

Вот как выглядит, оказывается, его кабинет. Отсюда, с дивана, когда дверь за спиной, он выглядит вполне безвыходным. Мощные

стены и внушительный стол, мерцающий полировкой и тремя невротически брыкливыми телефонами.

Прямо скажем, открытие: зайти к директору, значит оказаться в безвыходном положении. А чтобы увидеть выход, надо обернуться как раз на сто восемьдесят градусов, короче говоря, надо оставить директора за спиной — вот какое получается обобщение.

На свой стол отсюда, со стороны, он посмотрел с суеверной опаской — не сбросит ли?

Зачем же так обострять, Назаров? Тебя притесняли, теперь, чуть-чуть освоившись, ты начал притеснять — дорвался! Ведь главное не наказать, главное — воспитать сотрудника достойным нашей советской науки. А уволить легче всего, это путь наименьшего сопротивления. К тому же субъективизм, волюнтаризм и волевое руководство, дорогой мой, все это осуждено нашим обществом, как вредное...

Ему кто-нибудь все равно скажет так.

Но вот Досов скажет иное. И Ошевенский — тоже. И еще многие скажут умнее, чем принято думать, и говорить, и считать сообща.

Пылкий Леня Ошевенский любит делиться с Назаровым своими фантастическими проектами: «Надо нам обязательно достать электронно-вычислительную машину, хотя бы «Урал». Тогда у нас появятся колоссальные возможности в рентгенодиагностике. Современного врача раздражает противоречие между лавинообразно нарастающей научной информацией и физической невозможностью усвоить ее и практически использовать. Для того, чтобы врачу уследить за новостями только в пределах своей специальности, ему необходимо прочитывать и запоминать шестьсот тридцать восемь статей в день». Назаров усомнился — неужто шестьсот тридцать восемь? Ошевенский, довольный, что подсел профессора, воскликнул: «Мало того, доказано, что за текущее десятилетие объем информации удваивается!»

Этот, если напишет кляузу, так хорошую: почему директор не хочет покупать ЭВМ «Урал»? Да и не напишет, ибо у него достаточно информации о ножницах в наших мнимых и действительных

возможностях. Послать его надо за этим самым «Уралом» в Свердловек или на рабочее место к Амосову...

За дверью послышался голос Лукаш, недоуменный, и возражения секретарши: «Он болен, разве сами вы не заметили?»

Назаров прихромал к столу, собрал бумаги в портфель, дождался, когда голоса в приемной утихли, и вышел.

— Сегодня пусть меня не ищут,— сказал он секретарше.— Я буду в Академии, в министерстве и так далее. Только не говорите, что я болен, я совершенно здоров.

И поехал домой.

## XVII

Он поднимался к себе на четвертый этаж, как некая рептилия— сначала опирался обеими руками о перила, подтягивал больную ногу, затем ступал здоровой, преодолевал ступеньку, снова опирался обеими руками о перила. И таким манером все шесть маршей по тринадцать ступенек.

Двери открыл сын. В его комнате гремел магнитофон — все ритмы и ритмы, какие-то синкопы, ритмы длиною в двести метров, для непривычного уха длиннее бесконечности.

Сын плотно захлопнул дверь своей комнаты, но ритмы отдавались по всей квартире и, наверно, на всех трех этажах внизу.

Таблеток больше не было, и Назаров послал сына в аптеку.

Говорят, что от аспирина возможна лейкопения. Не просто говорят, но и доказывают.

А для чего? Лейкопения — это уменьшение белых кровяных телец, а раз уменьшение, то и снижение защитных функций организма. Но кому в отдельности нужна такая настороженность? Людям? Вряд ли. Не людям, а опухолям. Если бережешь свои лейкоциты, то почему бы не побережь свои зубы? А ведь приходится их подставлять, к примеру, хулигану, который избивает на улице женщину. Если бережешь свои лейкоциты, так почему бы не побережь свои клетки мозга, для чего, как известно, надо спать, а не проводить

бессонные ночи в работе. Вот заныли у него фронтовые раны — стоило ли беречь их делом Есетовой?

Все онкологи призывают к раковой настороженности. Американское общество онкологов считает, что если выкуривать ежедневно по двадцать сигарет, то вероятность заболевания раком легких увеличивается в двадцать два раза по сравнению с некурящими. Но курильщик не бросает курить, ибо верит больше не ученому обществу, а своему неученому самомнению — с какой стати рак будет именно у него? Чем он «хуже других?» К тому же бросить курить не так просто. «Бросить курить нетрудно, — говорил Марк Твен, — я сам раз двадцать бросал». Не всякий откажется позагорать в Крыму или на Иссык-Куле — рак кожи! — не лишит себя острого шашлыка любитель — рак пищевода!..

Так для чего все-таки эта масса предостережений?

Для чего постепенная трезвая жизнь?

Для чего он, онколог Назаров, бьется с недугом?

Что хуже: рак или негодяи, в конце концов?

Сын принес таблетки, и в квартире снова загремели ритмы. Рака ушей это не вызывает?..

Под такую музыку в самый раз подумать о современной молодежи, и в плане отнюдь не восхитительном — ах, наше будущее!.. В молодости Назарова модны были фокстроты. Правда, Айдару было не до танцев, но все же мода есть мода. Старики тогда говорили: эх, не то было в наши годы. И нынче старики говорят то же самое, ибо старики всех поколений одинаковы. А молодежь меняется, каждое поколение совсем не похоже на предыдущее.

Прямо скажем, занудливы магнитофонные ленты сына, но не хочется Назарову походить на стариков — стариковские резоны для юноши еще занудливее старинных вальсов.

Сыну его семнадцать лет, дочери — пятнадцать; сын по национальности казах, дочь — русская, чудеса!

Анна мечтала: если родится дочь, дадим ей русское имя, а если сын — казахское. И перечисляла: Гарун, Хасбулат, Измаил-бей, и еще какие-то называла татарские, кавказские, литературно-хрестоматийные. Из казахских же она считала лучшим имя мужа — так и

назвали сына Айдаром. А потом родилась дочь, белолицая, кудрявая, с типичными казахскими глазами — назвали Софьей.

Когда родственник в опале да женат на русской, не очень-то жалуют друзья и близкие частыми визитами. Вот почему Анна не привыкла к обычаю изнурительного порой гостеприимства и не научилась говорить по-казахски, как бывало в других русско-казахских семьях. Дети с первых слов и шагов считали себя русскими, — в семье говорили по-русски, во дворе — по-русски, в школе тоже. Родным языком стал русский, и, естественно, дети считали себя русскими. Потом Айдар подрос и стал называть себя казахом — тоже естественно. Но Соня упорно оставалась русской и говорила, что фамилия у нее русская, не зная того, что в аулах гораздо чаще можно услышать: «Эй, Назар, Назарбай, Назарбек!», чем в русских деревнях «Назар».

Чем старше становились дети, тем чаще в оценках и суждениях считали своим прогрессивным долгом расходиться с отцом и матерью — дескать, мы уже сами с усами.

И вообще, надо сказать, дети с возрастом становились какими-то отчужденными. Их беспокоили только те заботы, которые, на взгляд родителей, свойственны только чужим детям. У своих же детей должны быть заботы, близкие отцу с матерью, и вести они должны себя как бы с учетом родительского опыта.

Как-то раз к Соне зашла подружка, и Назаров стал невольным свидетелем их разговора. Они сидели на кухне, он — в кабинете, а двери остались открытыми.

— Он меня поцеловал, а у меня в животе как заурчит, как заурчит! — быстро проговорила подружка.

— Ой, как неприятно, — севшим голосом посочувствовала Соня.

— Я потом с мамкой пошептала, говорю: у моей подружки такая вот история. Мама говорит: вполне может быть. От волнения наступает спазм кишечника.

— Какой у-ужас! У всех так? — со страхом спросила Соня.

Так вот и вырабатывается стереотип у впечатлительной натуры — будет целоваться и цепенеть, прислушиваясь к своему животу.

— Не у всех, глупости! — веселым басом сказал Назаров. —  
Случайное совпадение!

Девочки ойкнули и, хлопнув дверью, убежали на улицу.

«Дал я им прикурить», — решил про себя Назаров. С детьми он любил и мысленно и вслух объясняться на их языке.

В прошлом году гостил в институте видный польский специалист по медицинской статистике. Его фамилия с тремя согласными в ряд трудно выговаривалась, и он попросил Назарова называть его паном Ковальским. «У нас в Варшаве каждый третий — пан Ковальский». Это был человек с весьма редким, по мнению Назарова, сочетанием: он очень много говорил и в то же время был очень серьезным ученым, известным как у себя, так и за рубежом. Назаров полагал, что такое сочетание в нашей стране — редкость. Почему? Национальная особенность? Или так принято в гостях? Или он вынужден был говорить только потому, что Назаров молчун? Назаров утомлялся, а пан Ковальский несколько раз заметил: «Почему у вас все люди молчат? Почему редко улыбаются? У нас вся Варшава говорит, вся Варшава с утра до ночи улыбается. А вы как будто боитесь разболтать государственную тайну». Назарову не хотелось заслуживать такого упрека, но пришлось все же и заслужить, и выслушать, хотя себя лично он не считал виновным в неумении поддержать разговор: во-первых, пан Ковальский о науке почти не говорил и любил темы вольные, если не сказать фривольные, чего Назаров был лишен начисто, а во-вторых, в ту секундную паузу, которую позволял себе пан Ковальский, невозможно было встрять со своей хотя бы краткой репликой, не говоря уже о длинном монологе.

Он был умен, деликатен и на скользкую тему говорил уверенно, без пошлых ужимок, ухмылок, недомолвок и потому значительно, отнюдь не вульгарно, так, что возражать ему в чем-то, сомневаться, перечить было бы пошло и неумно.

«У нас много хорошей литературы по воспитанию», — говорил он. — У вас молчание по вопросам пола, а у нас обязательны консультации с врачом-сексологом». Назойливое «у вас — у нас» могло надоест, но Назаров не возражал — гость посидит мало, увидит много.

Когда Назаров замечал растущие груди дочери, он вспоминал пана Ковальского и думал о половом воспитании. Но о чем говорить с Соней — он не знал, и странно: считал свою дочь на шестнадцатом году старше себя. Как будто всю женскую мудрость многих поколений она восприняла с молоком матери, и потому отцовские вмешательства, советы, предостережения будут звучать чужеродно, грубо...

— Айдар, смени пластинку! — закричал наконец Назаров не вытерпев.

Сын выключил магнитофон и сказал: «Батя, ты не меломан».

— Нахвтался верхушек! — возразил Назаров. — Сколько ни крути — не добьешься признания.

А психосоматики добьются, это уж наверняка — вон как разболелась нога, черт возьми!

В начале шестого зазвонил телефон. «Ясно, решили, что я уже дома». Назаров попросил сына, что если спрашивают его, ответить «нет дома». За полчаса телефон звонил трижды, и Назаров слышал, как в прихожей отвечал Айдар, вежливо и с азартом заговорщика: «А его нет дома... Нет, не приходил». Назарову стало неловко, и он пояснил:

— Я болен, а у нас там дела.

Потом с досадой махнул рукой — педагог! Воспитатель! Если дела, так ты хоть умри, но будь на своем месте. А ты бежишь, прячешься от дел, пижон!

Когда пришла Анна, он и ее предупредил, но звонки стали раздаваться так часто, что пришлось, выждав момент, снять трубку и положить ее рядом с аппаратом.

— Ты плохо выглядишь, — сказала Анна и приложила руку к его лбу. — Не меньше тридцати восьми.

Температура, как ни странно, его бодрила, возбуждала. И вообще он был чему-то уверенно рад, вероятно, звонкам. Они как бы утверждали его стратегический «ход конем».

Сына отцовское отношение к телефону забавляло — он подошел к аппарату, осторожно положил трубку, выждал минуту: зазвонило — сын расхохотался: «Пустые хлопоты!» Ничего он, разумеется,

не знал, не подозревал, но, видно, хотелось ему солидарности с отцом.

Часов в восемь пришла Галина Федоровна.

— Извините за вторжение. Но у вас телефон не работает.

Назаров поднялся на диване, поправил домашнюю куртку и подал голос:

— Проходите сюда, Галина Федоровна!

— Я только на одну минутку.— Она была взволнована и чем-то довольна.— Меня муж внизу ждет.

— Так зовите его сюда, вместе чаю попьем.

— Нет-нет, я буквально на одну минуту.— Лукаш пристально посмотрела на шефа, отметила плохое его состояние, но ничего такого не сказала.— Местный комитет завтра утром выносит свое решение — уволить. А вы так не вовремя заболели...

— Почему не вовремя?

— Собрание партийное готовить надо.

— Зачем его готовить, Галина Федоровна? Я надеюсь, что у сотрудников сложилось мнение и без подготовки. Глас народа — глас божий.

— Нельзя идти на поводу у стихии,— мягко упрекнула Галина Федоровна.— Еще Ленин учил: массами надо руководить. Это не метод борьбы, Айдар Назарович.

Ей, как всегда, не хватало чувства иронии, поэтому нередко серьезные ее суждения выглядели иронически.

— Не метод борьбы, но неплохой метод успокоения,— так же мягко дополнил Назаров.

— Теория бессилья,— не сдавалась Галина Федоровна, думая, однако, над тем, что, может быть, и в самом деле не нужна подготовка. Ей же самой легче.

— Не теория, а практика, дающая хороший результат. Я ползучий эмпирик, Галина Федоровна.— Он улыбнулся хитро, самодовольно.

— Вы считаете, что все будет хорошо?

— Считаю. Только пути подлости неисповедимы, а путь добра и возмездия всегда один.

— Дитя вы, Айдар Назарович, дитя неразумное.

1966 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Шаги по клавишам . . . . .	3
Новый редактор . . . . .	15
Бутылки . . . . .	26
Храни огонь, повесть . . . . .	31

Щеголихин И. Рассказы и по-  
ХРАНИ ОГОНЬ. весть, Алма-Ата, «Жазушы», 1968.  
116 стр.

Редактор Л. Золотова  
Художник Н. Яровая  
Худож. редактор А. Рахманов  
Технич. редактор П. Вальчук  
Корректор М. Кац.

Сдано в производство 5/VI-67 г.  
Позиция 80/67. Подписано к печати  
29/XII-67 г. УГ00695. Бум. тип. № 2,  
 $70 \times 108 \frac{1}{32} = 3,625$  печ. л. — 5,07 усл.  
п. л. (Уч.-издат. 5,82 л.). Тираж  
100000 экз. Цена 17 коп.

Заказ № 1159. Полиграфкомбинат  
Главполиграфпрома Госкомитета Со-  
вета Министров КазССР по печати,  
г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.

87

